



ЛИТЕРАТУРА

10

КЛАСС

УЧЕБНИК

для общеобразовательных
учреждений
(базовый уровень)

В двух частях

ЧАСТЬ

2

Рекомендовано

*Министерством образования и науки
Российской Федерации*

2-е издание, стереотипное



Москва 2011

УДК 373.167.1:882.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1я721
Л64

На учебник получены положительные заключения
Российской академии наук (№ 10106–5215/9 от 31.10.2007)
и Российской академии образования (№ 01–5/7д–307 от 30.10.2008)

Авторы-составители:
Ю. И. Лысый, И. С. Леонов
Автор-составитель
раздела «Зарубежная литература» *Т. В. Мальцева*

На обложке: *В. Г. Перов. Портрет писателя А. Н. Островского*
Вид на Китай-город и Кремль

**Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
Л64 учреждений (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 2. — 2-е изд., стер. — М.:
Мнемозина, 2011. — 495 с.**

ISBN 978-5-346-01679-3

В учебнике представлены тексты художественных произведений
(в ключевых фрагментах или в полном объеме), входящих в программу
10-го класса по русской и зарубежной литературе. Книга дает возможность
каждому старшекласснику целенаправленно работать с текстом произведе-
ния на уроке и дома.

УДК 373.167.1:882.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1я721

ISBN 978-5-346-01677-9 (общ.)
ISBN 978-5-346-01679-3 (ч. 2)

© «Мнемозина», 2010
© «Мнемозина», 2011
© Оформление. «Мнемозина», 2011
Все права защищены

От составителей

Изучение произведения в школе начинается с чтения художественного текста. Если вы знакомитесь с произведением только по учебнику, то лишаете себя того важного, что дает общение с подлинным искусством: развития своих способностей чувствовать, воображать, размышлять и творить.

В одной книге, конечно, невозможно поместить в полном объеме тексты всех произведений, включенных в программу 10-го класса. Стихотворения представлены в первой части учебника. Небольшие поэмы и повесть вошли целиком. Крупные эпические произведения даны во фрагментах. Само собой разумеется, каждое изучаемое произведение должно быть прочитано полностью. Иначе обедняется, а иногда искажается его восприятие.

Впечатления после самостоятельного чтения произведения осмыслиются в ходе его анализа под руководством учителя. Аналитическая работа предполагает перечитывание и разбор наиболее значимых фрагментов. Именно такими фрагментами и представлены в книге романы, занимающие главное место в курсе литературы 10-го класса.

В первой части учебника к этим фрагментам предложены задания, направленные на постижение изображенных характеров, проблематики и идейного смысла в произведении. Вопросы же во второй части учебника относятся к восприятию непосредственного содержания этих фрагментов, т. е. к тому, о чем и говорится в тексте. Вопросы обращают внимание на сюжетные ситуации, поступки и переживания героев, особенности языка и т. д.

Таким образом, учебник дает возможность каждому ученику целенаправленно работать с текстом произведения на уроке и дома.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Александр Сергеевич

ПУШКИН

(1799—1837)



Поэма «Медный Всадник» — образец классической ясности и четкости изложения — не включает в себе готовых выводов, а, напротив, полна вопросов и загадок. Поэт затрагивает вечные вопросы истории — отношения личности и государства. Прославление величия и деяний Петра Первого во Вступлении сменяет неоднозначное отношение к противоречивой фигуре царя в основном содержании поэмы. Реалистичный рассказ о несчастьях бедного чиновника, о его горькой судьбе соединяется здесь с исторической судьбой России. И кульминация поэмы — столкновение «маленького» человека с «кумиром на бронзовом коне» — носит символический смысл.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом*.

ВСТУПЛЕНИЕ

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал Он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там,
По оживленным берегам,
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск и шум и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полночная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И чужа вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут

И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почившей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришел, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог

В волненьи разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливы,
Ума недалежного ленивы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался как поэт:

Жениться? Ну... зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно,
Но что ж, он молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит.
«Пройдет, быть может, год другой —
Местечко получу — Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редает мгла ненастной ночи

И бледный день уж настает...
Ужасный день!

Нева всю ночь
Рвалась к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова...
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало; всё вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как Тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ
Зрит Божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С Божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слышал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, Боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива

И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот, насытись разрушением
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,

Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку,
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться в глубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.

Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Всё перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..

Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит,
Вот ива. Были здесь ворота,
Снесло их, видно. Где же дом?
И полон сумрачной заботы,

Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей,
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний всё вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье Невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! Его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятёжный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,

Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда, казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Раз он спал
У Невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали во тьме ночной
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить и вдруг
Остановился, и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С поднятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою

<http://kurokam.ru>

Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и Того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случилось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не возросло
Там ни былинки. Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

❧ Задания ❧

- ❧ Как изображен Пётр Первый во Вступлении к поэме? Почему в своем внутреннем монологе он говорит не я, а мы? Как и почему меняется тон повествования во Вступлении к поэме?
- ❧ Какие мечты, стремления, идеалы Евгения раскрываются в первой части поэмы? Как нарисована в ней картина наводнения (лексика, эпитеты, сравнения)?
- ❧ Найдите во второй части поэмы перифразы, заменяющие слово «памятник». Какие детали наделяют памятник чертами живого человека?
- ❧ Каким изображен Евгений, вступивший в поединок с фигурой царя (его поведение, жесты, мимика, монолог)?
- ❧ В чем сходны пейзажи во Вступлении и в финале поэмы?

ГОГОЛЬ

(1809—1852)

В повести «Невский проспект» дано обобщенное изображение столицы.

Один из героев «Невского проспекта» — бедный художник, романтик в душе, Пискарев. Это застенчивый, робкий человек, тихо и преданно любящий искусство. Но в нем тлеет искра таланта, готовая, как пишет Гоголь, при удобном случае превратиться в пламя. Трагически заканчивается его попытка найти прекрасное в жизни.

Но содержание повести не сводится только к противопоставлению двух типов людей. Обратим внимание на ее название. Невский проспект — не просто место, где завязались истории Пискарева и Пирогова. Он выступает как своеобразный герой повести, соединяющий ее части. Писатель относится к Невскому проспекту как к живому существу, влияющему на происходящие события. Невский проспект — символ петербургской жизни, зеркало, витрина столицы с ее социальными и нравственными противоречиями. Ни один из героев повести не может быть назван главным уже потому, что история каждого из них является лишь частью повести, а не ее стержнем, роль которого выполняет Невский проспект, где «непостижимо играет нами судьба наша». Нарисованный на первых страницах и в конце повести, он незримо присутствует в ней всюду как начало всех походов и злоключений героев.

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блещит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но

даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантазмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопях, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми¹ еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед², летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой

¹ *Комми* — приказчик (от франц.).

² *Ганимед* — в древнегреческой мифологии слуга Зевса.

в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не слышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, включая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набег гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностью изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей

и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленовою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посес-соров¹ и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков — пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение приро-

¹ *Посессор* — владелец, обладатель (от франц.).

ды и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущею столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хороших глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редет... В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтись по

Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого по-вытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чужак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с

тем чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. — Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова¹ Бианка.

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, покрасневшись, молодой человек во фраке. — Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши, — один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. — Ступай, простофила, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», — думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетающей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал

¹ Пьетро Перуджино — итальянский художник, учитель Рафаэля.

беспреданно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегающий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже, увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в

глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвести. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утратить это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнейшее расстояние, бесечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним

окинулось каким-то туманом. Тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он неся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремилась его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перилы у подъезда противопоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянувшись, положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастья в один миг! Такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужель та, за один небесный взгляд которой он готов был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобноисполняемы, чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему верить; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил

все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, — она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал свою паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпущка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, — все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святоотечественно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только семнадцать лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло... Как будто вместе с непорочностью оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!..» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилась с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна,

без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка...»

— Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйста поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее... — все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже вошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в

совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканых из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел по-даться вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться

решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него: боже! она стоит перед ним... Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! Какой рай! дай силы, создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклоном головы — нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означал яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она. — Я также скучала. Я замечая, что вы меня ненавидите... — прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

— Вас ненавидеть! мне? я... — хотел было произнести совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастью, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. — Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь, — произнесла она тихо. — Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречающих, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно,

опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постеле, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все отринувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать». Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умиლოსердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны... она глядит... О, как не надолго! опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то верно бы принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство,

он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его.

Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за грудку золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней — тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! как музыкален шум ее шагов и простенького платья! как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот...» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал да-

лее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существованностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспреданное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! Она склонилась к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, — говорил он сам себе, — да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на

самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волосы, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа). — Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, — прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решил попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъясняем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден, — сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, — но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Огровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городского лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии,

повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное создание. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окна кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностью Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фракком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем

была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове¹. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играют какие-нибудь «Филатки»², которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменны. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготавливая к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парюю лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши по крайней мере до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или по крайней мере полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского» и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми

¹ А. А. Орлов (1791—1840) — лубочный писатель.

² Речь здесь о водевиле П. И. Григорьева «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха и одна невеста» (1831). Этот водевиль пользовался большой популярностью среди невзыскательных зрителей.

судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской

улице. Возле Шиллера стоял Гофман, — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? — Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. — Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностью сказал:

— Вы извините меня...

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на

его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили... я офицер...

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа, — вскрикнула немка и ушла, и чрез несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходявшего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в

таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и заперся на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов.

— Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. — Русский возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъясил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау! — закричал он.

— Вас волен ли дох? — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня!¹

Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели, — отвечал в размышлении Шиллер, — у меня теперь очень много работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решил не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера,

¹ — Жена! — Что вам угодно? — Ступайте на кухню! (искаженное нем.).

при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то по крайней мере уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет таких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу, — сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбоюхватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на

фу-фу, уже Шиллер измерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был на коротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома, — отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома, — сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумал про себя Пирогов, — этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торньюру¹ и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании, — как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюрнберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрат мой Кунц!

¹ Торнюра — сложение, фигура (от франц.).

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. — Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, — тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку главно-

го штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете¹. Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

❧ Задания ❧

❧ Найдите ключевые фразы-формулы во всупительном и заключительном описаниях Невского проспекта. Как он охарактеризован?

❧ Что сближает зарисовки публики на Невском проспекте и людей высшего общества из сна Пискарева? Что добавляет сон к общей картине Петербурга?

❧ Как описаны переживания Пискарева и Пирогова во время их следования за незнакомками? В чем разница их переживаний?

¹ Мари Жозеф Лафайет (1757—1834) — французский политический деятель, генерал.

Иван Сергеевич

ТУРГЕНЕВ

(1818—1883)

Действие романа «Отцы и дети» начинается летом 1859 года, укладывается в короткий промежуток времени и происходит попеременно то в Марьине и Никольском, усадьбах Кирсановых и Одинцовой, то в родительском доме Базарова, причем герой путешествует по этим местам дважды. Такая композиция романа обусловлена авторским замыслом. Попав в первый раз в чуждую ему обстановку дворянского быта в Марьино, он держится уверенно и выходит победителем в своем столкновении с братьями Кирсановыми. Сюжетный поворот романа начинается с XIV главы, в которой рассказывается о знакомстве Базарова с Одинцовой. Сначала незаурядность героя, исходящая от него внутренняя сила привлекли к нему Одинцову. Базаров пробудил в ней чувство, которого она не испытывала раньше. Но благоразумие и страх перед возможными переменами в ее размеренной, комфортной жизни взяли в ней верх. На страстное базаровское признание в любви она ответила отказом.

Для Базарова этот отказ был не только унижением. Не сумев подавить в себе любовь к Одинцовой, он почувствовал, что произошло нечто большее, чем просто неудачное объяснение с женщиной. До сих пор Базаров считал, что нет ничего вне его, что бы заставило его переменить свои убеждения и правила поведения. В теоретических взглядах Базарова любовь в романтическом духе была в одном ряду с такими словами, как «чепуха, гниль, художество». И вот теперь в него вселилось нечто, с чем он, как это понял окончательно, уехав от Одинцовой к родителям, справиться не в состоянии.

Тургенев отправляет своего героя во второй цикл поездок по тем же местам, где он уже побывал. Базаров пытается подавить свое чувство к Одинцовой во время второго пребывания в Марьине, которое заканчивается его дуэлью с Павлом Петровичем. В тщетной надежде Базаров заезжает еще раз в усадьбу Одинцовой. И, наконец, его путешествие, да и сама жизнь завершаются в родительском доме. После встречи с Одинцовой герой испытывает внутренний кризис.

«Ненормальное», с точки зрения Базарова, его новое состояние для Тургенева в высшей степени нормально: истинные силы жизни одержали верх над теоретическими убеждениями героя. В эпилоге романа, в сцене посещения стариками Базаровыми могилы сына, писатель даже тех заставляет почувствовать горечь утраты, кто относился к его герою без особой симпатии. Образ Базарова в романе «Отцы и дети» воплощает в себе тип человеческого поведения, возникающий во все времена. Именно благодаря этому роман остается интересным для многих поколений.

ОТЦЫ И ДЕТИ

(ФРАГМЕНТЫ)

Посвящается памяти

Виссариона Григорьевича Белинского

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил, наконец, Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осинової рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учителя, — небрежно отвечал Базаров.

Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю; известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, *Гётте*... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли всё какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров.

— Вот как, — промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы всё, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

— Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист», — подумал Николай Петрович. — Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, — прибавил он вслух. — А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да, — проговорил он, ни на кого не глядя, — беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хват! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди такими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, — заметил Аркадий. — Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбивые, львиные привычки, фатство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, *Dytiscus marginatus*, знаешь? Я тебе его покажу.

— Я тебе обещался рассказать его историю, — начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. <...>

Х

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка в особенности до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полуснувшись, полужевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искося, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой скюрточок, — и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозила еще раз холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без цели терпеть не мог, — а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и

Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь, — говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый, — промолвил Базаров, — но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, — продолжал между тем Базаров. — Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft»¹ на первый случай.

— Я сам так думаю, — заметил одобрительно Аркадий. — «Stoff und Kraft» написано популярным языком.

— Вот как мы с тобой, — говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете: — в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович. — Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное, — перебил опять Павел Петрович.

— Да, — заметил Николай Петрович, — он самолюбив.

¹ «Материя и сила» (нем.).

Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии *красным* величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, — а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся, и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

— Гм! — промычал он. — Аркадий Николаевич заботится о твоём воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати, — начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. — Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в *** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был

генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, — заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся, — пробормотал его брат. — У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко», — равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить, — начал Павел Петрович, и губы его задрожали, — по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, — повторил он с ожесточением, — английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз, — возразил Базаров, — но что вы хотите этим доказать?

— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли,

одни — *эфто*, другие — *экто*: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, — а в аристократе эти чувства развиты, — нет никакого прочного основания общественному... *bien public*¹... общественному зданию. Личность, милостивый государь, — вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович, — промолвил Базаров, — вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует...

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил! В силу чего же вы действуете?

¹ Общественному благу (*франц.*).

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, — вмешался Аркадий.

— Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным, — промолвил Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Все?

— Все.

— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Все, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович. — Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

— Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил Аркадий, — мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, — я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры...

— Я не стану против этого спорить, — перебил Базаров, — я даже готов согласиться, что *в этом* вы правы.

— А если я прав...

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает, — повторил Аркадий с уверенностью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому несколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице

по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал, — с надменною гордостью отвечал Базаров. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они, или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся, — промолвил он. — Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте, — продолжал он, обращаясь снова к Базарову, — вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. — Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну да, да, вы обличители, — так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокату-

ре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так, — перебил Павел Петрович, — так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом. — Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны, — произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать... — продолжал он. — Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила, — заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета, — проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, — хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила — да на что нам она?

Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouilleur*, тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога, — промолвил Базаров. — Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, — ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйте. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прекверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразил Базаров. — Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

— Bravo! bravo! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, — флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. — Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, — прибавил он вста-

вая, — когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю, — воскликнул Павел Петрович, — миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведаль на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слышали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши условия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот, — начал, наконец, Павел Петрович, — вот вам нынешняя молодежь! Вот они — наши наследники!

— Наследники, — повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на углях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. — Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я, наконец, сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромен, — возразил Павел Петрович, — я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного или бело-

го? «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение...

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять, — отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: *bon soir*¹, и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы, — думал он, — и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? — подумал он опять, — не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиную рощу, лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи: он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднимаясь

¹ Добрый вечер (франц.).

лось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, Боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, *Stoff und Kraft* — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такую, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодую девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученную косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернувшись, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur»¹, — а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... «Но, — думал он, — те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

— Николай Петрович, — раздался вблизи его голос Фенечки, — где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

¹ Извините, сударь (франц.).

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь, — отвечал он, — я приду, ступай. — «Вот они, следы-то барства», — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой...

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

— Что с тобой? — спросил он Николая Петровича, — ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...

— Знаешь ли что? — говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. — Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

— И долго ты у них пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будет.

— А к нам на возвратном пути заедешь?

— Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

— Пожалуй, — лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностью скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула... но старичкам вздохнулось легко...

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главной ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься», — уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстуках. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей

точки зрения, вы правы, и, может быть, в этом случае я — барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолевает», — и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня *она* не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает», — думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой — с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя *обожала* природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал уме-

рять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиною всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами? «Нравится тебе женщина, — говорил он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью — да, с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в

выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съезженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ремненным обрывочком и в дегтярных сапогах.

— А, старина, здравствуй! — воскликнул Базаров.

— Здравствуйте, батюшка Евгений Васильич, — начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

— Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, как можно! — залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде). — В город по господским делам ехали, да про вашу милость услышали, так вот и завернули по пути, то есть — посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

— Ну, не ври, — перебил его Базаров. — В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

— Отец здоров?

— Слава Богу-с.

— И мать?

— И Арина Власьевна, слава тебе Господи.

— Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

— Ах, Евгений Васильич, как не ждать-то-с! Верите ли Богу, сердце изныло на родителей на ваших гляючи.

— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

— Слушаю-с, — со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцей, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

— Как же это вы ехать собираетесь, — начала она, — а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

— Какое-с?

— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть *Pelouse et Frémy, Notions générales de Chimie*¹; книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

— Что делать-с! — повторил Базаров.

— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

— Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

¹ Пелуз и Фреми, «Общие основы химии» (франц.).

— Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. — Базаров продолжал сидеть неподвижно. — Евгений Васильич, что же вы молчите?

— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

— Это почему?

— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильич.

— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

— Думайте, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

— Аркадий останется, — заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

— Мне будет скучно, — повторила она.

— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы так полагаете?

— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

— И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вот например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

— Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная, мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

— Спустите стору и сядьте, — промолвила Одинцова, — мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

— Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров.

— Все это нисколько не занимательно, — произнес он вслух, — особенно для вас; мы люди темные...

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

— Да, — промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

— Я вас знаю мало, — повторил Базаров. — Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек — загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготились — и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашей красотой, живете в деревне?

— Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова. — С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

— Это все равно, — пробормотал он, — я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

— Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

— Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

— Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

— Любопытством — пожалуй; но не иначе.

— В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

— Мы сошлись... — глухо промолвил Базаров.

— Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхав-

шуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной...

— Куда вы? — медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустил на стул.

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом, — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. — А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

— Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие, как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу, — повторила Одинцова и вздохнула. — Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара, — прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. — Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной — длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

— Вы так разочарованы? — спросил Базаров.

— Нет, — промолвила с расстановкой Одинцова, — но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

— Вам хочется полюбить, — перебил Базаров, — а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантилии.

— Разве я не могу полюбить? — промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

— Случается что?

— Полюбить.

— А вы почему это знаете?

— Понаслышке, — сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь, — подумал он, — ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...» Сердце у него действительно так и рвалось.

— Притом, вы, может быть, слишком требовательны, — промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

— Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

— Что ж? — заметил Базаров, — это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

— Вы говорите так, — начала она, — как будто все это испытывали.

— К слову пришлось, Анна Сергеевна: это все, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумели отдаться?

— Не знаю, хвататься не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

— Что это Катя так поздно играет, — заметила Одинцова. Базаров поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

— Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

— Какое?

— Погодите, — шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

— Ты еще не ложился? — проговорил он как бы с досадой.

— Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

— Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

— Я не играл... — начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее... Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

— Евгений Васильевич, — проговорила Анна Сергеевна, — пойдемте ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» — и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользящего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

— Так как же называется эта книга? — начала она после небольшого молчания.

— Pelouse et Frémy, *Notions générales*... — отвечал Базаров. — Впрочем, можно вам также порекомендовать Ganot, *Traité élémentaire de physique expérimentale*¹. В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку.

— Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

— Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем, бишь, беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

— Мы говорили с вами, кажется, о счастье. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастье». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет», — возразил Базаров, — притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

¹ Гано, «Элементарный учебник экспериментальной физики» (франц.).

— Может быть, они кажутся вам смешными?

— Нет, но они мне не приходят в голову.

— В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете?

— Как? я вас не понимаю.

— Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, — вам это самим известно, — что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды — вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? я хочу сказать — какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? словом, кто вы, что вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

— Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

— Да чем же Аркадий...

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы — с вашим самолюбием — уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

— Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние...

— Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

— Да и кроме того, — перебил Базаров, — что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет — по крайней мере тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

— Вы называете дружескую беседу болтовней... Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

— Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

— Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

— Происходит! — повторил Базаров, — точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

— А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

— *Вы* можете? — спросил Базаров.

— Могу, — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

— Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

— Как хотите, — продолжала она, — а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

— А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

— Да.

Базаров встал и подошел к окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

— Да, — повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

— И вы не рассердитесь?

— Нет.

— Нет? — Базаров стоял к ней спиною. — Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

— Евгений Васильич, — проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенно спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

— Вы меня не поняли, — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» — «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли», — ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата, — промолвила она вслух, — но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

«Нет, — решила она наконец, — бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленной: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

— Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, — начал он, усаживаясь на стуле у окна и опира-

ясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости), — но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

— Все мое время к вашим услугам, — ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

— С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

— Вопрос? О чем это?

— А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

— Вот мое мнение, — сказал он: — С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое.

— То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

— Вы вполне отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

— Из нерешимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решил драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

— Со мной?

— Непременно с вами.

— Да за что? помилуйте.

— Я бы мог объяснить вам причину, — начал Павел Петрович. — Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-с, — проговорил он. — Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

— Чувствительно вам обязан, — ответил Павел Петрович, — и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

— То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров. — Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

— Прекрасно, — промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. — Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

— Нет, лучше без формальностей.

— Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего больше?

— Чего же больше? — повторил иронически Базаров.

— Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, — ибо где ж их взять?

— Именно, где их взять?

— То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах...

— В десяти шагах? это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

— Можно и восемь, — заметил Павел Петрович.

— Можно; отчего же!

— Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмоце, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

— Вот с этим я не совсем согласен, — промолвил Базаров. — Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

— Соглашаюсь. Но есть средство избежать этого грустного нареkania. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петр.

— Какой Петр?

— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*.

— Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

— Вы продолжаете шутить, — произнес, вставая со стула, Павел Петрович. — Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, все устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

— Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

— Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

— До приятного свидания, милостивый государь мой, — промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня, — думал он, — но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность, поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! — решил он наконец, — скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьяча, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру, — подумал он, — узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем, — прибавил он, — подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьина огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал, — подумал Базаров, — да по крайней мере за делом, а мы?»

— Кажись, они идут-с, — шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидел Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставил вас ждать, — промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. — Я не хотел будить моего камердинера.

— Ничего-с, — ответил Базаров, — мы сами только что пришли.

— А! тем лучше! — Павел Петрович оглянулся кругом. — Никого не видеть, никто не помешает... Мы можем приступить?

— Приступим.

— Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

— Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее, — прибавил Базаров с усмешкой. — Раз, два, три...

— Евгений Васильич, — с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке), — воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь... — Базаров остановился. — Довольно? — промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу, — или еще два шага накинуть?

— Как угодно, — проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинем еще два шага. — Базаров провел носком сапога черту по земле. — Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

— Я полагаю, на десять, — ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. — Сובлаговолите выбрать.

— Сובлаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

— Вам все желательно шутить, — ответил Павел Петрович. — Я не отрицаю странности нашего поединка, но я счи-

таю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. *A bon entendeur, salut!*¹

— О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить *utile dulci*?² Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

— Я буду драться серьезно, — повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит, — подумал Базаров, — и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего», — успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

— Вы ранены? — промолвил он.

— Вы имели право подозвать меня к барьеру, — проговорил Павел Петрович, — а это пустяки. По условию, каждый имеет еще по одному выстрелу.

— Ну, извините, это до другого раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. — Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

— Все это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, — промолвил с расстановкой Павел Петрович, — и... надо... опять... — Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

— Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. — Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал

¹ Имеющий уши да слышит! (*франц.*).

² Полезное с приятным (*лат.*).

вокруг раны... — Кость цела, — бормотал он сквозь зубы, — пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул *vastus externus* задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая.

— Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

— Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

— Вы правы... Экая глупая физиономия! — проговорил с насильственной улыбкой раненый джентльмен.

— Да ступай же за водой, черт! — крикнул Базаров.

— Не нужно... Это был минутный *vertige*¹... Помогите мне сесть... вот так... Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — заметьте.

— О прошлом вспоминать незачем, — возразил Базаров, — а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте, я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

— Смотри брата не испугай, — сказал ему Павел Петрович, — не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; а пока он бежал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет по крайней мере здесь торчать, — успокаивал он себя, — и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объяснить, ни разойтись.

¹ Головокружение (*франц.*).

— Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил, наконец, Базаров.

— Нет, ничего, прекрасно, — отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

— Очень хорошо, — промолвил Базаров. — Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

— И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

— Кто ж его знает! — ответил Базаров, — всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

— А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

— Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом. — Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

— Ничего, — отвечал Павел Петрович, — напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

— Да из-за чего все вышло, ради бога?

— Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помогли мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади...

— Я должен вас просить заняться братом, — сказал ему Николай Петрович, — пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а впрочем, подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» — но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «*Couchez-vous*»¹, — и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

— А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

— С какою Нелли, Паша?

— Как это ты спрашиваешь? С княгиней Р... Особенно в верхней части лица. *C'est de la même famille*².

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло», — подумал он.

— Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. — Я не

¹ Ложитесь (*франц.*).

² В том же роде (*франц.*).

потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться... — лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

— Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

— Точно так-с.

— Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избежать этого поединка, который... который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Слава Богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

— Я вам оставляю свой адрес на случай, если выйдет история, — заметил небрежно Базаров.

— Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий...

— Я, должно быть, с ним увижусь, — возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, — в противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

— И я прошу... — ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! — сказал он про себя... — Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза», — а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волне-

ние. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», — плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, *плен* довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа диривались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

<...>

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьева до того переполошилась и избегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

— Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина, — сказал ему Базаров, — я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

— Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! — отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъяснений нежности. «Мы, матуш-

ка моя, — говорил он ей, — в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьева соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька! — бывало скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так», — а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» — «Да что ж ты у него сама не спросила?» — «А надоем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запирается: лихорадка работы с него *соскочила* и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает, — жаловался он втихомолку жене, — он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен — вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». — «Господи, Господи! — шептала старушка, — надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии... Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». — «Ну, ну, ну, я ничего!» — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчишки, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: *Время верное приходит, сердце чувствует любовь...* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на

жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, — вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы можем... тоже, потому, значит... какой положен у нас, примерно, придел». — «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров, — и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, — успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью, объяснял мужик, — а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин изыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

— О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. — О недоимке, что ль?

— Какое о недоимке, братец ты мой! — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость, — так, болтал коё-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?

— Где понять! — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...

Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный плафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до еди-

ного, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все твердил: «Ну, это дело девятое!» — потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава Богу! перестал хандрить! — шептал он своей супруге. — Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку Гулярдовой воды или банку беленной мази, — ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся... Мне кажется, дуб, и тот бы вылетел вон!..

— Похвально! — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъяснил сожаление в том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого Бога, — промолвил Василий Иванович, — позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как... поздно... — едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, Боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи?

— Ты бы посмотрел на его ланцеты, — промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предложениям, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень

не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетита нету? А голова? — прибавил он робким голосом, — болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьева выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений, — продолжал Василий Иванович, — но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не шупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, — промолвила Арина Власьева.

— Простудился, — повторил Базаров и удалился.

Арина Власьева занялась приготовлением чаю из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратно глядел на своего сына. Арина Власьева тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьева вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше» — и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусил губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог по-

нять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она, наконец, схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предупредить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиток.

Василий Иванович подал ему воды и кстати поцупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина, — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он, — что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

— Полно, — не спеша перебил его Базаров. — Врачу позволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений?.. помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим, — сказал он наконец, — положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмии, — подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии...

— *Пиэмии*, — сурово и отчетливо повторил Базаров. — Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, непри-

ятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу. — Он отпил еще немного воды. — А я хочу попросить тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

— К Аркадию Николаичу, — подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаич? — проговорил Базаров как бы в раздумье. — Ах да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнул на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись! — простонал он, — наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидательной и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские? — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила, — промолвил он, — вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот по крайней мере успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? — прибавил он, погода немного. — Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стойком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ! — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравках. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить, — шептал он, сжимая кулаки, — что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни... рвотное... горчишники к желудку... кровопускание», — говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьева сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одиновой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьева его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава Богу! — твердил он, — наступил кризис... прошел кризис.

— Эка, подумаешь! — промолвил Базаров, — слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» — и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут — он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Браво! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует, — отвечал Василий Иванович.

— Ну и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить — и не мог.

— Евгений! — произнес он наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забвения, произнес:

— Что, мой отец?

— Евгений, — продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. — Евгений, тебе теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — промолвил он наконец, — но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в Божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспомощных причащают.

— Помилуй, Евгений...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно замечен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже слышалось фыркание лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двухместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее...

— Я Одинцова, — промолвила она. — Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

— Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты. — Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба...

— Что такое, Господи! — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.

— Что вы! что вы! — твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

— *Wo ist der Kranke?*¹ И где же есть пациент? — проговорил, наконец, доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился. — Здесь, здесь, пожалуйста за мной, *вертестер герр коллега*², — прибавил он по старой памяти.

— Э! — произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, — и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза. — Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

— Она здесь... я хочу ее видеть.

— Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю бо-

¹ Где больной? (нем.).

² Уважаемый коллега (от нем.).

лезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца. — Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: *jam moritur*¹.

— *Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein*², — начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— *Их... габе...*³ — Говорите уж лучше по-русски, — промолвил старик.

— А, а! *так это фот как это...* Пошалуй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила — мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо, — усиленно заговорил он, — я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра... — начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.

Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и *фюит*! (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что такая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая...

¹ Уже умирает (лат.).

² Сударь, по-видимому, владеет немецким языком (нем.).

³ Я... имею... (искаженное нем.).

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он. — Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиток, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете, — начал он опять, — мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

— Евгений Васильич, я здесь...

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте, — проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложила губами к его лбу.

— И довольно! — промолвил он и опустил на подушку. — Теперь... темнота...

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович.

— Он заснул, — отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении,

дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, — хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, — и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, — рассказывала потом в людской Анфисушка, — рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым...

❧ Задания ❧

❧ Как складывались отношения Базарова с братьями Кирсановыми? В чем причина спора Базарова с Павлом Петровичем? Что движет участниками спора, как это проявляется в особенностях их речи? Какова роль ремарок в диалогах (главы VI и X)?

❧ Найдите высказывания Базарова о его отношении к искусству. Как автор оспаривает их (глава XI)?

❧ Какие художественные детали подчеркивают силу и глубину чувства Базарова? Как писатель объясняет причину неудачи Базарова в любви (главы XVII — XVIII)?

❧ Как характеризует Базарова его поведение в сцене дуэли с Павлом Петровичем (глава XXIV)?

❧ Как изображено мужество и бесстрашие Базарова перед смертью? С помощью каких деталей писатель подчеркивает, что Базаров становится «естественнее и человечнее» (Писарев)?

Федор Михайлович
ДОСТОЕВСКИЙ
(1821—1881)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

РОМАН В ШЕСТИ ЧАСТЯХ С ЭПИЛОГОМ

(ФРАГМЕНТЫ)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С — м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К — ну мосту.

Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки в

сущности он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти пристаивания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, — нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.

Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! — подумал он с странною улыбкой. — Гм... да... все в руках человека, и все-то он мимо носу пронесет единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая... о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на *это*? Разве *это* серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшие, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытие, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. <...> Второй день как уж он почти совсем ничего не ел.

Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие

известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих срединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего сошелся своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться... А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» — и заорал во все горло, указывая на него рукой, — молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская¹, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.

— Я так и знал! — бормотал он в смущении, — я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа... Смешная, потому и приметная... К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят... главное, потом запомнят, а и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. вот эти-то мелочи и губят всегда и все...

Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать *пробу* своему предприятию,

¹ Циммерман — известный в Петербурге владелец фабрики и магазина шляп на Невском.

и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.

С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходявшему одною стеной на канаву, а другою в — ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная», но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого *дела* дойти?..» — подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякой случай...» — подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилища оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье,

а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтевшая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.

— Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, — поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.

— Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.

— Так вот-с... и опять, по такому же дельцу... — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.

«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством.

Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед:

— Пройдите, батюшка.

Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, — вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто: и мебель и полы были оттерты под лоск; все блестело. «Лизаветина работа», — подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», — продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.

— Что угодно? — строго произнесла старушонка, входя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо.

— Заклад принес, вот-с! — И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная.

— Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул.

— Я вам проценты еще за месяц внесу; потерпите.

— А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать.

— Много ль за часы-то, Алена Ивановна?

— А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно.

— Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.

— Полтора рубля-с и процент вперед, коли хотите-с.

— Полтора рубля! — вскрикнул молодой человек.

— Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще и за другим пришел.

— Давайте! — сказал он грубо.

Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, — соображал он. — Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, вдвое, с зубчатой бородкой, конечно не от комода... Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка, али укладка... Вот это любопытно. У укладок всё такие ключи... А впрочем, как это подло все...»

Старуха воротилась.

— Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек, за месяц вперед-с. Да за два прежних рубля с вас еще причтается по сему же счету вперед двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с.

— Как! так уж теперь рубль пятнадцать копеек!

— Точно так-с.

Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно...

— Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях, еще одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... вот как от приятеля ворочу... — Он смутился и замолчал.

— Ну тогда и будем говорить, батюшка.

— Прощайте-с... А вы все дома одни сидите, сестрицы-то нет? — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.

— А вам какое до нее, батюшка, дело?

— Да ничего особенного. Я так спросил. Уж вы сейчас... Прощайте, Алена Ивановна!

Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И, наконец, уже на улице, он воскликнул:

«О Боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...»

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. «Все это вздор, — сказал он с надеждой, — и нечем тут было сму-

щаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря — и вот, в один миг, крепнет ум, яснееет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.

В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одною девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке, и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прицелкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнюю часть корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде:

Целый год жену ласкал,
Цел-лый год же-ну лас-кал...

Или вдруг, проснувшись, опять:

По Подъяческой пошел,
Свою прежнюю нашел...

Но никто не разделял его счастья; молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своею посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.

II

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За застойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольников тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекившим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не удалаться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в бес-

покойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положив продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец, он прямо посмотрел на Раскольников и громко и твердо проговорил:

— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать: служить изволили?

— Нет, учусь... — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему, слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности.

— Студент, стало быть, или бывший студент! — вскричал чиновник, — так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт! — и в знак похвалы он приложил палец ко лбу. — Были студентом или происходили ученую часть! А позвольте... — Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку, несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже жадностью накинудся он на Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.

— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметаю из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то что я! Понимаете-с? Позвольте еще вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы почевать на Неве, на сенных барках?

— Нет, не случилось, — отвечал Раскольников. — Это что такое?

— Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с...

Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязны, жирные, красные, с черными ногтями.

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать «забавника», и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и наклонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.

— Забавник! — громко проговорил хозяин. — А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?

— Для чего я не служу, милостивый государь, — подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, — для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случилось вам... гм... ну хоть спрашивать денег займы безнадежно?

— Случалось... то есть как безнадежно?

— То есть безнадежно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиболее полезнейший гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял намерении, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки отправляетесь в путь и...

— Для чего же ходить? — прибавил Раскольников.

— А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) — прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. <...> — Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! Пусть! «Се человек!»¹ Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не можете ли вы, а осмелитесь ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова.

— Ну-с, — продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством, переждав опять последовавшее в комнате хихикание. — Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, — особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого и чувств облагороженных воспитанием исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая... И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе как от жалости сердца (ибо, повторяю без смущения, она дерет мне вихры, молодой человек, — подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье), но, Боже, что если б она хотя один раз... Но нет! нет! все сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. ибо и не один уже раз бывало желаемое и не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирожденный скот!

— Еще бы! — заметил, зевая, хозяин.

Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.

— Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил,

¹ «Се человек!» — слова Понтия Пилата о Христе (Евангелие от Иоанна, XIX, 5).

дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и каплять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи, скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте сызмалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу! — И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

— Молодой человек, — продолжал он, восклоняясь опять, — в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу перед сими празднующими, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль... ну медаль-то продали... уж давно... гм... похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и еще недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее все пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на черном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец; а она хоть и не спускала ему, о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой... И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоя-

нии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда... И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая и руки ломая — пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете... И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как очутились мы, наконец, после странствий и многочисленных бедствий, в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал... Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила... Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны Липпехель, а чем живем и чем платим, не ведаю. Живут же там многие и кроме нас... Содом-с, безобразнейший... гм... да... А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возраста, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная, и оборвет... Да-с! Ну да нечего вспоминать о том! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить; но как я сам был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки... гм!.. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось все обучение. На Кире Персидском остановились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романического, да недавно еще, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку «Физиологию» Льюиса — извольте знать-с? — с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и все ее просвещение. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая

работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович, — изволили слышать? — не только денег за шитье полдюжины голландских рубаш до сих пор не отдал, но даже с обидой погнал ее, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом будто бы рубашечный ворот спит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, — что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда... ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» А уж Дарья Францовна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку наведывалась. «А что ж, — отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплатутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крикнул.

— С тех пор, государь мой, — продолжал он после некоторого молчания, — с тех пор, по одному неблагоприятному

случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, — чему особенно способствовала Дарья Францовна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, — с тех пор дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, Амалия Федоровна, того допустить не хотела (а сама же прежде Дарье Францовне способствовала), да и господин Лебезятников... гм... Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериною Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли: «Как, дескать, я, такой просвещенный человек, в одной квартире с таковскою буду жить?» А Катерина Ивановна не спустила, вступилась... ну и произошло... И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки и Катерину Ивановну облегчает и средства посильные доставляет... Живет же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаумов хром и косноязычен, и все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная... В одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой... Гм, да... Люди беднейшие и косноязычные... да... Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать?.. Нет? Ну так Божия человека не знаете! Это — воск... воск перед лицом Господним; яко тает воск!.. Даже прослезились, изволив все выслушать. «Ну, говорит, Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания... беру тебя еще раз на личную свою ответственность, — так и сказали, — помни, дескать, ступай!» Облобызал я прах ног его, мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши саванником и человеком новых государственных и образованных мыслей; воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалование получаю, Господи, что тогда было...

Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок». Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно.

— Было же это, государь мой, назад пять недель. Да... Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи, точно я в Царствие Божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: «Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!» Кофею меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливки настоящих доставать начали, слышите! И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые — великолепнейшие, вицмундир, все за одиннадцать с полтиной сострипали в превосходнейшем виде-с. Пришел я в первый день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких... то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего всё сделать сумеют: причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, наруканнички, ан совсем другая особа выходит, и помолодела и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь, до времени, у вас часто бывать неприлично, так разве в сумерки, чтобы никто не видел. Слышите, слышите? Пришел я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна: за неделю еще с хозяйкой, с Амалией Федоровной, последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и все шептались: «Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждаты велел, а Семёна Захарыча мимо всех за руку в кабинет провел». Слышите, слышите? «Я, конечно, говорит, Семен Захарыч, помня ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло (слышите, слышите!), то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово», то есть все это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с! И я не осуждаю; нет, этого я не осуждаю!.. Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье мое — двадцать три рубля сорок копеек — сполна принес, малявочкой меня назвала: «Малявочка, говорит, ты эдакая!» И наедине-с, понимаете ли? Ну, уж что, кажется, во мне за краса и какой я супруг? Нет, ущипнула за щеку. «Малявочка ты эдакая!» — говорит.

Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашел сюда.

— Милостивый государь, милостивый государь! — воскликнул Мармеладов, оправившись, — о государь мой, вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну а мне не в смех! Ибо я все это могу чувствовать... И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и, то есть, как я это все устрою, и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою единородную от бесчестья в лоно семьи возвращу... И многое, многое... Позволительно, сударь. Ну-с, государь ты мой (Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя), ну-с, а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому) к вечеру, я хитрым обманом, как тать в ночи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось из принесенного жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... и всему конец!

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил:

— А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе, хе, хе!

— Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

— Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. — Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, все что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! а это больней-с, больней-с, когда не укоряют!.. Тридцать копеек, да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой доро-

гой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить, ведь нельзя же-с; юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил себе на похмелье! И пью-с! И уж пропил-с!.. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говори, сударь, жаль али нет? Хе, хе, хе, хе!

Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф был пустой.

— Да чего тебя жалеть-то? — крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и не слушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника.

— Жалеть! зачем меня жалеть! — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. — Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слез!.. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия. Придет в тот день и спросит: «А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...» И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! обрза звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлещи?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые,

потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем... и всё поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи, да придет царствие твое!

И он опустился на лавку, истощенный и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздался прежний смех и ругательства:

— Рассудил!

— Заврался!

— Чиновник!

И проч. и проч.

— Пойдемте, сударь, — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, — доведите меня... Дом Козеля, на дворе. Пора... к Катерине Ивановне...

Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Идти было шагов двести — триста. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому.

— Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, — бормотал он в волнении, — и не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы!.. вздор волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше, коли драть начнет, а я не того боюсь... я... глаз ее боюсь... да... глаз... Красных пятен на щеках тоже боюсь... и еще — ее дыхания боюсь... Видал ты, как в этой болезни дышат... при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь... Потому, как если Соня не накормила, то... уж и не знаю что! Не знаю! А побоев не боюсь... Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают... Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет... оно лучше... А вот и дом. Козеля дом. Слесаря, немца, богатого... веди!

Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но на верху лестницы было очень темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было видно из сеней. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тря-

пье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпехезель, была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет тридцати, и действительно была не пара Мармеладову... Входящих она не слыхала и не заметила; казалось, она была в каком-то забытьи, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила; с лестницы несло воню, но дверь на лестницу была не затворена; из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет девяти, высокенькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длинною, высохшею как спичка рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтоб он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими темными глазами, которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике.

Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки, а Раскольников протолкнул вперед. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая: зачем это он вошел? Но, верно, ей тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа.

— А! — закричала она в испуге, — воротился! Колдун! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! Где твоё платье? где деньги? говори!..

И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развел руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки.

— Где же деньги? — кричала она. — О Господи, неужели же он все пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. — и вдруг, в бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, смиренно ползя за нею на коленках.

— И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в наслаждение, милости-вый государь, — выкрикивал он, потрясаясь за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребенок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна, как лист.

— Пропил! всё, всё пропил! — кричала в отчаянии бедная женщина, — и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, — вдруг набросилась она на Раскольникова, — из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из нее выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату; слышался, наконец, зловеющий визг: это продиралась вперед сама Амалия Липпневхель, чтобы произвести распорядок по-свойски и в сотый раз испугать бедную жен-

щину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор такой я сделал, — подумал он, — тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно, — продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся, — денег стоит сия чистота... Гм! А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по красному зверю... золотопромышленность... вот они все, стало быть, и на бобах завтра без моих-то денег... Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

Он задумался.

— Ну, а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно не *подлец* человек, весь вообще, весь род, то есть, человеческий, то значит, что остальное все — предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..

III

<...>

«Милый мой Родя, — писала мать, — вот уже два месяца с лишком как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверно, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя; ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет, за неимением чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились! Чем могла я с моими ста двадцатью рублями в год пенсiona помочь тебе? Пятнадцать рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсiona, у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был еще приятелем твоего отца. Но, дав ему право на получение за меня пенсiona, я должна была ждать,

пока выплатится долг, а это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во все это время послать тебе. Но теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебе еще выслать, да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живет со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе господи, кончились ее истязания, но расскажу тебе все по порядку, чтобы ты узнал, как все было и что мы от тебя до сих пор скрывали. Когда ты писал мне, тому назад два месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, — что могла я тогда написать тебе в ответ? Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй бы, все бросил и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперед целых сто рублей под условием ежемесячного вычета из жалованья, и, стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту (теперь могу тебе все объяснить, бесценный Родя) взяла она более для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей, в которых ты тогда так нуждался и которые ты и получил от нас в прошлом году. Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так, а теперь сообщаю тебе всю правду, потому что все теперь переменилось внезапно, по воле Божией, к лучшему, и чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом... Но не хочу пускаться во все эти тяжелые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уж все теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги г-на Свидригайлова, и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда г-н Свидригайлов находился, по старой полковой привычке своей, под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии? Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства, при таких легкомысленных надеж-

дах, а потому и злился невольно на Дуню. А может быть, и то, что он грубостию своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину. Но, наконец, не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и сверх того бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Можешь представить себе все ее страдания! Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денежного долга, но и щадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрения, а следовательно, и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал; уж так не обошлось бы. Были тут и многие разные причины, так что раньше шести недель Дуня никак не могла рассчитывать вырваться из этого ужасного дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твердым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Она даже мне не написала обо всем, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все превратно, во всем ее же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена: Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платья, все как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме, в ответ на твое, полученное мною два месяца назад, и о чем писать? Сама я была в отчаянии; правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчен и возмущен, да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, еще себя погубить, да и Дунечка запрещала; а наполнять письмо пустяками и о чем-нибудь, тогда как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории, и до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний, и даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться, и я наверно узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляри-

сты хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дегтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и особенно жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю в короткое время не только в городе, но и по уезду. Я заболела, Дунечка же была тверже меня, и если бы ты видел, как она все переносила и меня же утешала и ободряла! Она ангел! Но, по милосердию Божию, наши муки были сокращены: господин Свидригайлов одумался и раскаялся и, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности, а именно: письмо, которое Дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтоб отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которое, по отъезде Дунечки, осталось в руках г-на Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастною и без того уже несчастную и незащищенную девушку. Одним словом, милый Родя, письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слез. Кроме того, в оправдание Дуни явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам г-н Свидригайлов, как это и всегда водится. Марфа Петровна была совершенно поражена и “вновь убита”, как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечкиной и на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор, на коленях и со слезами молила владычицу дать ей силу перенести это новое испытание и исполнить долг свой. Затем, прямо из собора, ни к кому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам все, горько плакала и, в полном раскаянии, обнимала и умоляла Дуню простить ее. В то же утро, нисколько не мешкая, прямо от нас, отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слезы, восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух соб-

ственноручное письмо Дунечкино к г-ну Свидригайлову и даже давала снимать с него копии (что, мне кажется, уже и лишнее). Таким образом, ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение, и, таким образом, завелись очереди, так что в каждом доме уже ждали заранее и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах и у других знакомых, по очереди. Мое мнение, что многое, очень многое, тут было лишнее; но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на ее мужа, как на главного виновника, так что мне его даже и жаль; слишком уже строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась. Вообще же все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением. Все это способствовало, главным образом, и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених и что она успела уже дать свое согласие, о чем и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь, из дела же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так. Он уже надворный советник, Петр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через нее изъявил желание с нами познакомиться, был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил свое предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждой минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но

это, может быть, только так кажется с первого взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый Родя, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдет в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется. Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того, чтоб обознать какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которые весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, “убеждения новейших поколений наших” и враг всех предрассудков. Многое и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтоб его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, Родя. Это девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того что девушка умная — в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который в свою очередь стал бы заботиться о ее счастье, а в последнем мы не имеем, покамест, больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях (чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя), то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется, что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести, под условием если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким; но ведь это может происходить именно оттого, что он прямодушный человек, и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение;

потому, как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Прибавляю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение, а помню одну только мысль, и, кроме того, сказал он это отнюдь не преднамеренно, а, очевидно, проговорившись, в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить; но мне все-таки показалось это немного как бы резко, и я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что "слова еще не дело", и это, конечно, справедливо. Пред тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь и, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате; наконец, стала на колени и долго и горячо молилась пред образом, а наутро объявила мне, что она решилась.

Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся. О если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямою к нам милостию Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалованье родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности (еще бы ты-то не оказался способен!), но тут же выразил и сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось, но Дуня ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжёбным занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяю все ее планы и надежды, видя в них полную вероятность; и, несмотря на теперешнюю

весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича (потому что он тебя еще не знает), Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж, конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чем-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших и, главное, о том, что ты будешь его компаньоном. Он человек положительный и, пожалуй, принял бы очень сухо, так как все это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете; потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии, и он, наверно, без лишних слов, сам предложит (еще бы он в этом-то отказал Дунечке), тем скорее, что ты и сам можешь стать его правою рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалованья. Так хочет устроить Дунечка, и я с нею вполне согласна. Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним, при предстоящей теперешней встрече нашей, на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому, и поближе, чтоб о нем судить, и что он сам предоставляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе свое мнение. Знаешь что, бесценный мой Родя, мне кажется, по некоторым соображениям (впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим, бабьим капризам), — мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью и если еще не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается; но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тещи не очень-то бывают мужьям по сердцу, а я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободною, покамест у меня хоть какой-нибудь свой кусок да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, Родя, самое-то приятное я приберегла к концу письма: узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки! Уже *навечно* решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда имен-

но, не знаю, но во всяком случае очень, очень скоро, даже, может быть, через неделю. Все зависит от распоряжений Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется, по некоторым расчетам, как можно поспешить церемонией брака и даже, если возможно будет, сыграть свадьбу в теперешний же мясоед, а если не удастся, по краткости срока, то тотчас же после госпожинок. О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой и сказала раз, в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она! Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строках ничего не напишешь, а только себя расстроишь; велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчисленно поцелуев. Но, несмотря на то, что мы, может быть, очень скоро сами сойдемся лично, я все-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я наверно знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь в счет пенсионера даже до семидесяти пяти рублей, так что я тебе, может быть, рублей двадцать пять или даже тридцать пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные; и хотя Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно сам вызвался, на свой счет, доставить нашу поклажу и большой сундук (как-то у него там через знакомых), но все-таки нам надо рассчитывать и на проезд в Петербург, в который нельзя показаться без гроша, хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже все рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмет немного. До железной дороги от нас всего только девяносто верст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком; а там мы с Дунечкой преблагополучно прокатимся в третьем классе. Так что, может быть, я тебе не двадцать пять, а, наверно, тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно; два листа кругом уписала, и места уж больше не остается; целая наша история; ну да и происшествий-то сколько накопилось! А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру, Родя; люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно, больше себя самой любит. Она ангел, а ты,

Родя, ты у нас все — вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы! Прощай, или, лучше, *до свидания!* Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бессчетно.

Твоя до гроба

Пульхерия Раскольниковыча».

<...>

IV

Письмо матери его измучило. Но относительно главного, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главная суть дела была решена в его голове, и решена окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!»

«Потому что это дело очевидное, — бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. — Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Еще бы! Думают, что теперь уж и разорвать нельзя, а посмотрим — лъзя или нельзя! Отговорка-то какая капитальная: “уж такой, дескать, деловой человек Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может как на почтовых, чуть не на железной дороге”. Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной *много*-то говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскою Божией Матерью, которая у мамашы в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Гм... Так, значит, решено уж окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (*уже* имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, “*кажется*, доброго”, как замечает сама Дунечка. Это *кажется* всего великолепно! И эта же Дунечка за это же *кажется* замуж идет!.. Великолепно! Великолепно!..

...А любопытно, однако ж, для чего мамаша о “новейших-

то поколениях” мне написала? Просто для характеристики лица, или с дальнейшею целью: задобрить меня в пользу господина Лужина? О хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство: до какой степени они обе были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту ночь и во все последующее время? Все ли *слова* между ними были прямо произнесены, или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего выговаривать да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было; по письму видно: мамаше он показался резок, *немножко*, а наивная мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и “отвечала с досадой”. Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она пишет мне: “Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит”; уж не угрызения ли совести ее самое втайне мучат, за то что дочерью сыну согласилась пожертвовать. “Ты наше упование, ты наше все!” О мамаша!...» Злоба накипала в нем все сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его!

«Гм, это правда, — продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове, — это правда, что к человеку надо “подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его”; но господин Лужин ясен. Главное, “человек деловой и, *кажется*, добрый”: шутка ли, поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет! Ну как же не добрый? А они-то обе, *невеста* и мать, мужичка подряжают, в телеге, рогожею крытой (я ведь так ездal)! Ничего! Только ведь девяносто верст, «а там прелюбополучно прокатимся в третьем классе», верст тысячу. И благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы-то, г-н Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста... И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит и расходы пополам; хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул *немножко*: поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а пожалуй, что и задаром пойдет. Что ж они обе не видят, что ль, этого, аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны! И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скалдырничество важно, а *тон* всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество... Да и мамаша-то чего ж, однако,

кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми аль с двумя “билетиками”, как говорит та... старуха... гм! Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней *нельзя* будет вместе жить после брака, даже и в первое время? Милый-то человек, наверно, как-нибудь тут *проговорился*, дал себя знать, хотя мамаша и отмахивается обеими руками от этого: “Сама, дескать, откажусь”. Что ж она, на кого же надеется: на сто двадцать рублей пенсион, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет да нарукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям, это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются: “Сам, дескать, предложит, упрашивать будет”. Держи карман! И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиньи перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговарят; коробит их от одного помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть и что он ее на обеды у подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет! А впрочем, черт с ним!..

...Ну да уж пусть мамаша, уж бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как последний-то раз мы виделись: характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что “Дунечка многое может снести”. Это я знал-с. Это я два с половиной года назад уже знал и с тех пор два с половиной года об этом думал, об этом именно, что “Дунечка многое может снести”. Уж когда господина Свидригайлова, со всеми последствиями, может снести, значит действительно многое может снести. А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при первом свидании. Ну да положим, он “проговорился”, хоть и рациональный человек (так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить), но Дуня-то, Дуня? Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком.

Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... ну да уж, конечно, не изменилась и теперь!.. Что говорит! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двести рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, — навеки, из одной своей личной выгоды! И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною наложницей господина Лужина! Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продает! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чем вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать, продаст! Все продаст! О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно, как день. Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с, счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочь не пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия пожалуй что не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? “Любви тут не может быть”, — пишет мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уважения не может быть, а, напротив, уже есть отвращение,

презрение, омерзение, что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, *"чистоту наблюдать"* придется. Не так, что ли? Понимаете ли, понимаете ли, понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет! "Дорого, дорого сто́ит, Дунечка, сия чистота!" Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь? Скорбю сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех, сколько, потому что не Марфа же вы Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь неспокойна, мучается; а тогда, когда все ясно увидит? А со мной?.. Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!»

Он вдруг очнулся и остановился. «Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, *когда кончишь курс и место достанешь?* Слышали мы это, да ведь это *буки*, а теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под сторублевый пенсион да под господ Свидригайловых под заклад достаются! От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? Через десять-то лет? Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от слез; от поста исчахнет; а сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет али в эти десять лет? Догадался?»

Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые наболевшие, давнишние. Давно уже как они начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями, о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать,

и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или...

«Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в исступлении, — послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, — ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он *предчувствовал*, что она непременно «пронесется», и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах.

<...>

V

<...>

Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и силло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи... Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, проселок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. Идет она, извиваясь, далее и шагах в трехстах огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь, с зеленым куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды по

его бабушке, умершей уже давно и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде, в салфетке, а кутья была сахарная из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большею частью без окладов, и старого священника с дрожащею головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могилка его меньшого брата, умершего шести месяцев и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить: но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее. И вот снится ему: они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака; он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание: на это раз тут как будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов. Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. «Садись, все садись! — кричит один, еще молодой, с толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, — всех довезу, садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицанья:

— Этак кляча да повезет!

— Да ты, Миколка, в уме, что ли: этакую кобыленку в такую телегу запрег!

— А ведь савраске-то беспреренно лет двадцать уж будет, братцы!

— Садись, всех довезу! — опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берет вожжи и становится на передке во весь рост. — Гнедой даве с Матвеем ушел, — кричит он с телеги, — а кобыленка этта, братцы, только сердце мое надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб ест. Говорю, садись! Вскачь пуцу! Вскачь пойдет! — И он берет в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь савраску.

— Да садись, чего! — хохочут в толпе. — Слышь, вскачь пойдет!

— Она вскачь-то уж десять лет, поди, не прыгала.

— Запрыгает!

— Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй!

— И то! Секи ее!

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и еще можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах, в кичке с бисером, на ногах коты, щелкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: этакая лядащая кобыленка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помогать Миколке. Раздается: «ну!», клячонка дергает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трех кнутов, сыплющихся на нее, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечет учащенными ударами кобыленку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдет.

— Пусти и меня, братцы! — кричит один разлакомившийся парень из толпы.

— Садись! Все садись! — кричит Миколка, — всех повезет. Засеку! — И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения.

— Папочка, папочка, — кричит он отцу, — папочка, что они делают! Папочка, бедную лошадку бьют!

— Пойдем, пойдем! — говорит отец, — пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри! — и хочет увести его, но он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. Но уж бедной лошадке плохо. Она задыхается, останавливается, опять дергает, чуть не падает.

— Секи до смерти! — кричит Миколка, — на то пошло. Засеку!

— Да что на тебе креста, что ли, нет, леший! — кричит один старик из толпы.

— Видано ль, чтобы така лошаденка таку поклажу везла, — прибавляет другой.

— Заморишь! — кричит третий.

— Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Садись еще! Все садись! Хочу, чтобы беспрременно вскачь пошла!..

Вдруг хохот раздается залпом и покрывает все: кобыленка не вынесла учащенных ударов и в бессилии начала лягаться. Даже старик не выдержал и усмехнулся. И впрямь: этакая лядащая кобыленка, а еще лягается!

Два парня из толпы достают еще по кнуту и бегут к лошаденке сечь ее с боков. Каждый бежит с своей стороны.

— По морде ее, по глазам хлещи, по глазам! — кричит Миколка.

— Песню, братцы! — кричит кто-то с телеги, и все в телеге подхватывают. Раздается разгульная песня, брякает бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает орешки и посмеивается.

...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут. Один из секущих задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит, бросается к седому старику с седою бородой, который качает головой и осуждает все это. Одна баба берет его за руку и хочет увести: но он вырывается и опять бежит к лошадке. Та уже при последних усилиях, но еще раз начинает лягаться.

— А чтобы те леший! — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над савраской.

— Разразит! — кричат кругом.

— Убьет!

— Мое добро! — кричит Миколка и со всего размаху опускает оглоблю. Раздается тяжелый удар.

— Секи ее, секи! Что стали! — кричат голоса из толпы.

А Миколка намахивается в другой раз, и другой удар со всего размаху ложится на спину несчастной клячи. Она вся оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвертый, мерно, с размахом. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить.

— Живуча! — кричат кругом.

— Сейчас беспрременно падет, братцы, тут ей и конец! — кричит из толпы один любитель.

— Топором ее, чего! Покончить с ней разом, — кричит третий.

— Эх, ешь те комары! Расступись! — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. — Берегись! — кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул; кобыленка запаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.

— Добивай! — кричит Миколка и вскакивает, словно себя не помня, с телеги. Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало — кнуты, палки, оглоблю — и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает.

— Доконал! — кричат в толпе.

— А зачем вскачь не шла!

— Мое добро! — кричит Миколка, с ломом в руках и с налитыми кровью глазами. Он стоит, будто жалея, что уж некого больше бить.

— Ну и впрямь, знать, креста на тебе нет! — кричат из толпы уже многие голоса.

Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его наконец и выносит из толпы.

— Пойдем! пойдем! — говорит он ему, — домой пойдем!

— Папочка! За что они... бедную лошадку... убили! — всхлипывает он, но дыханье ему захватывает, и слова криками вырываются из его стесненной груди.

— Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! — говорит отец. Он обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается.

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе.

— Слава Богу, это только сон! — сказал он, садясь под деревом и глубоко переводя дыхание. — Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается; такой безобразный сон!

Все тело его было как бы разбито; смутно и темно на душе. Он положил локти на колена и подпер обеими руками голову.

— Боже! — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, разможжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?

Он дрожал как лист, говоря это.

— Да что же это я! — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, — ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... *пробу*, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперь-то? Чего ж я еще до сих пор сомневался? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... ведь меня от одной мысли *наяву* стошнило и в ужас бросило...

— Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор...

<...>

VII

Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку.

Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее, вместе с дверью, на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза.

— Здравствуйте, Алена Ивановна, — начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал, — я вам... вещь принес... да вот лучше пойдемте сюда... к свету... — И, бросив ее, он, прямо без приглашения, прошел в комнату. Старуха побежала за ним; язык ее развязался.

— Господи! Да чего вам?.. Кто такой? Что вам угодно?

— Помилуйте, Алена Ивановна... знакомый ваш... Раскольников... вот, заклад принес, что обещался намедни... — И он протягивал ей заклад.

Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что, кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее.

— Да что вы так смотрите, точно не узнали? — проговорил он вдруг тоже со злобой. — Хотите берите, а нет — я к другим пойду, мне некогда.

Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось.

Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил.

— Да чего же ты, батюшка, так вдруг... что такое? — спросила она, смотря на заклад.

— Серебряная папиросочница: ведь я говорил прошлый раз.

Она протянула руку.

— Да чтой-то вы какой бледный? Вот и руки дрожат! Искупался, что ль, батюшка?

— Лихорадка, — отвечал он отрывисто. — Поневоле станешь бледный... коли есть нечего, — прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным; старуха взяла заклад.

— Что такое? — спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке.

— Вещь... папиросочница... серебряная... посмотрите.

— Да чтой-то, как будто и не серебряная... Ишь навертел.

Стараясь развязать шнурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у ней были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правой рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, все более немели и деревенеют. Он боялся, что выпустит и уронит топор... вдруг голова его как бы закружилась.

— Да что он тут навертел! — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой.

Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровью, — в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться... Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната, с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным из лоскутков, ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но

отдернул руку; да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался; к тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по снурку тут же, по телу, сверху, но не посмел, и с трудом, испачкав руки и топор, после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял; он не ошибся — кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой замшевый засаленный кошелек с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.

Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ, с зубчатою бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода (как и в прошлый раз ему на ум пришло), а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке, может быть, все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть: стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белую простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. «Красное, ну а на красном кровь неприметнее», — рассудилось было ему, и вдруг он опомнился: «Господи! С ума, что ли, я схожу?» — подумал он в испуге.

Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи — вероятно, всё заклады, выкупленные и невыкупленные, — браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу,

но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками. Нимало не медля, он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров; но он не успел много набрать...

Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно слышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минутой или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала, как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекосилились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.

Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств, еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться

домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждою минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты.

Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, взглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколоте блюбочке, кусочек мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю под пальто. Затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась в нем, — мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает... «Боже мой! Надо бежать, бежать!» — пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.

Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но боже! Ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же.

Он кинулся к дверям и наложил запор.

— Но нет, опять не то! Надо идти, идти...

- ❧ Каким изображен в главе I романа Петербург? Чьими глазами видит его читатель?
- ❧ Как в рассказе Мармеладова о себе и своей семье нарисована безысходность его положения? Почему Раскольников слушал Мармеладова так внимательно? В чем укрепило его услышанное (глава II)?
- ❧ Почему письмо матери измучило Раскольникова (глава III)? С кем вступает в спор Раскольников, прочитав письмо матери (глава IV)?
- ❧ Какие художественные детали в описании сна Раскольникова (глава V) имеют, по вашему мнению, особо важное значение?
- ❧ Почему Раскольников был взволнован услышанным в трактире разговором студента и офицера? Как писатель показывает, что Раскольников, совершая преступление, действовал «механически, как будто его кто-то взял за руку и потащил за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражения»? Какие чувства испытывал Раскольников, совершая преступление? Чем завершается глава VIII?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

V

Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливою физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно-нескрываемым удивлением и как будто спрашивал взглядами: «Куда ж это я попал?» Недоверчиво и даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирался он тесную и низкую «морскую каюту» Раскольникова. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, включенного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем, с тою же медлительностью, стал рассматривать растрепанную, небритую и нечесаную фигуру Разумихина, который в свою очередь дерзко-вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось с минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декорации. Сообразив, должно быть, по некоторым, весьма, впрочем, резким, данным, что преувеличенно-строгую осанку здесь, в этой «морской каюте», ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса:

— Родион Романыч Раскольников, господин студент или бывший студент?

Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же:

— А вот он лежит на диване! А вам что нужно?

Это фамильярное «а вам что нужно?» так и подсекло чопорного господина; он даже чуть было не повернулся к Разумихину, но успел-таки сдержать себя вовремя и поскорей повернулся опять к Зосимову.

— Вот Раскольников! — проямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и так же медленно и лениво потащился опять их укладывать.

Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь, и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоях, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил: «вот Раскольников», он, вдруг быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес:

— Да! Я Раскольников! Что вам надо?

Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес:

— Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно.

Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз.

— Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий? — спросил Петр Петрович, несколько корбясь.

В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он видимо, наконец, сконфузился.

— Я предполагал и рассчитывал, — замямлил он, — что письмо, пущенное уже с лишком десять дней, даже чуть ли не две недели...

— Послушайте, что ж вам все стоять у дверей-то? — перебил вдруг Разумихин, — коли имеете что объяснить, так садитесь, а обоим вам, с Настасьей, там тесно. Настасьюшка, посторонись, дай пройти! Проходите, вот вам стул, сюда! Пролезайте же!

Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость «пролез» в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказать, и гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стула, он сел и мнительно поглядел на Разумихина.

— Вы, впрочем, не конфузьтесь, — брякнул тот, — Родя пятый день уже болен и три дня бредил, а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел, а я товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь; так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо.

— Благодарю вас. Не беспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором? — обратился Петр Петрович к Зосимову.

— Н-нет, — промямлил Зосимов, — даже развлечь можете, — и опять зевнул.

— О, он давно уже в памяти, с утра! — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия, что Петр Петрович подумал и стал ободряться, может быть, отчасти и потому, что этот оборванец и нахал успел-таки отрекомендоваться студентом.

— Ваша мамаша... — начал Лужин.

— Гм! — громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно.

— Ничего, я так; ступайте...

Лужин пожал плечами.

— ...Ваша мамаша, еще в бытность мою при них, начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтоб уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем; но теперь, к удивлению моему...

— Знаю, знаю! — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. — Это вы? Жених? Ну, знаю!.. и довольно!

Петр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит? С минуту продолжалось молчание.

Между тем Раскольников, слегка было оборотившийся к нему при ответе, принялся вдруг его снова рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто давеча еще не успел его рассмотреть всего или как будто что-то новое в нем его поразило: даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтоб успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, новехонькая, круглая шляпа об этой цели свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих жувеневских, перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для парада. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношесственные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше: все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой

и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин. Рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок. Но господин Лужин скрепился и, кажется, решил не примечать до времени всех этих странностей.

— Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении, — начал он снова, с усилием прерывая молчание. — Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Но, знаете, хлопоты!.. Имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в сенате. Не упоминаю уже о тех заботах, которые и вы угадаете. Ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час...

Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать; лицо его выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал:

— ...С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру...

— Где? — слабо выговорил Раскольников.

— Весьма недалеко отсюда, дом Бакалеева...

— Это на Вознесенском, — перебил Разумихин, — там два этажа под номерами; купец Юшин содержит; бывал.

— Да, номера-с...

— Скверность ужаснейшая: грязь, вонь, да и подозрительное место; штуки случались; да и черт знает кто не живет!.. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем.

— Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как и сам человек новый, — щекотливо возразил Петр Петрович, — но, впрочем, две весьма и весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок... Я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру, — оборотился он к Раскольникову, — и теперь ее отделявают; а покамест и сам теснюсь в номерах, два шага отсюда, у госпожи Липпехель, в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеныча Лебезятникова; он-то мне и дом Бакалеева указал...

— Лебезятникова? — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая.

— Да, Андрей Семеныч Лебезятников, служащий в министерстве. Изволите знать?

— Да... нет... — ответил Раскольников.

— Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его... очень милый молодой человек...

и следящий... Я же рад встречать молодежь: по ней узнаешь, что нового. — Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих.

— Это в каком отношении? — спросил Разумихин.

— В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела, — подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. — Я, видите ли, уже десять лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи — все это и до нас прикоснулось в провинции; но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге. Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И признаюсь: порадовался...

— Чему именно?

— Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется мне, нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики; более деловитости...

— Это правда, — процедил Зосимов.

— Врешь ты, деловитости нет, — вцепился Разумихин. — Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не двести лет как от всякого дела отучены... Идеи-то, пожалуй, и бродят, — обратился он к Петру Петровичу, — и желание добра есть, хоть и детское; и честность даже найдется, несмотря на то, что тут видимо-невидимо привалило мошенников, а деловитости все-таки нет! Деловитость в сапогах ходит.

— Не соглашусь с вами, — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович, — конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и снисходительным: увлечения свидетельствуют о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано: распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и романических; литература принимает более зрелый оттенок; искоренено и осмеяно много вредных предубеждений... Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с...

— Затвердил! Рекомендуется, — произнес вдруг Раскольников.

— Что-с? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.

— Это все справедливо, — поспешил вставить Зосимов.

— Не правда ли-с? — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. — Согласитесь сами, — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства и чуть было не прибавил: «молодой человек», — что есть преуспеяние, или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды...

— Общее место!

— Нет, не общее место-с! Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби» и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр Петрович, может быть с излишнею поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана, и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...

— Извините, я тоже неостроумен, — резко перебил Разумихин, — а потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целию, а то мне вся эта болтовня-себятешение, все эти неумолчные, непрерывные общие места и все то же да все то же до того в три года опротивели, что, ей-богу, краснею, когда и другие-то, не то что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях, это очень простительно, и я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников и до того искажали они все, к чему ни прикоснулись, в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну-с, и довольно!

— Милостивый государь, — начал было г-н Лужин, корбясь с чрезвычайным достоинством, — не хотите ли вы, столь бесцеремонно, изъяснить, что и я...

— О, помилуйте, помилуйте... Мог ли я!.. Ну-с, и довольно! — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову.

Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти.

— Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше, — обратился он к Раскольникову, — после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепитя еще более... Особенно желаю вам здоровья...

Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула.

— Убил непременно закладчик! — утвердительно говорил Зосимов.

— Непременно закладчик! — поддакнул Разумихин. — Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает...

— Закладчиков допрашивает? — громко спросил Раскольников.

— Да, а что?

— Ничего.

— Откуда он их берет? — спросил Зосимов.

— Иных Кох указал; других имена были на обертках вещей записаны, а иные и сами пришли, как прослышали...

— Ну, ловкая же и опытная, должно быть, каналья! Какая смелость! Какая решимость!

— Вот то-то и есть, что нет! — прервал Разумихин. — Это-то вас всех и сбивает с пути. А я говорю — неловкий, неопытный, и, наверно, это был первый шаг! Предположи расчет и ловкую каналью, и выйдет невероятно. Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды и вынес, а случай чего не делает? Помилуй, да он и препятствий-то, может быть не предвидел! А как дело ведет? — берет десяти-двадцатирублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке, в тряпье, — а в комод, в верхнем ящике, в шкатулке, одних чистых денег на полторы тысячи нашли, кроме билетов! И ограбить-то не умел, только и сумел, что убить! Первый шаг, говорю тебе, первый шаг; потерялся! И не расчетом, а случаем вывернулся!

— Это, кажется, о недавнем убийстве старухи чиновницы, — вмешался, обращаясь к Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо,

хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие.

— Да. Вы слышали?

— Как же-с, в соседстве...

— В подробности знаете?

— Не могу сказать; но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, целый вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе, в последние лет пять, увеличились; не говорю о повсеместных и непрерывных грабежах и пожарах; страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются, и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил; там передовые, по общественному своему положению, люди фальшивые бумажки делают; там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей, — и в главных участниках один лектор всемирной истории; там убивают нашего секретаря за границей, по причине денежной и загадочной... И если теперь эта старуха процентщица убита одним из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту с одной стороны распущенность цивилизованной части нашего общества?

— Перемен экономических много... — отозвался Зосимов.

— Чем объяснить? — прицепился Разумихин. — А вот именно закоренелю слишком неделовитостью и можно бы объяснить.

— То есть как это-с?

— А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал: «Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть». Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку, поскорей, без труда! На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваное есть. Ну, а пробил час великий, тут всяк и объявился, чем смотрит...

— Но, однако же, нравственность? И, так сказать, правила...

— Да об чем вы хлопочете? — неожиданно вмешался Раскольников. — По вашей же вышло теории!

— Как так по моей теории?

— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...

— Помилуйте! — вскричал Лужин.

— Нет, это не так! — отозвался Зосимов.

Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой и трудно дышал.

— На все есть мера, — высокомерно продолжал Лужин, — экономическая идея еще не есть приглашение к убийству, и если только предположить...

— А правда ль, что вы, — перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды, — правда ль, что вы сказали вашей невесте... в тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому... что она нищая... потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать... и попрекать тем, что она вами благодетельствована?..

— Милостивый государь! — злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись, — милостивый государь... так исказить мысль! Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или, лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания, и я... подозреваю, кто... одним словом... эта стрела... одним словом, ваша мамаша... Она и без того показалась мне, при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и романического оттенка в мыслях... Но я все-таки был в тысяче верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазией виде могла понять и представить дело... И наконец... наконец...

— А знаете что? — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным, сверкающим взглядом, — знаете что?

— А что-с? — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание.

— А то, что если вы еще раз... осмелитесь упомянуть хоть одно слово... о моей матери... то я вас с лестницы кувырком спущу!

— Что с тобой! — крикнул Разумихин.

— А, так вот оно что-с! — Лужин побледнел и закусил губу. — Слушайте, сударь, меня, — начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь, — я еще давеча, с первого шагу, разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтоб узнать еще более. Многое я бы мог простить больному и родственнику, но теперь... вам... никогда-с...

— Я не болен! — вскричал Раскольников.

— Тем паче-с...

— Убирайтесь к черту!

Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом; Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его. Не глядя ни на кого и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтоб он оставил в покое больного, Лужин вышел, приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, принагнувшись, проходил в дверь. И даже в изгибе спины его как бы выражалось при этом случае, что он уносит с собой ужасное оскорбление.

— Можно ли, можно ли так? — говорил озадаченный Разумихин, качая головой.

— Оставьте, оставьте меня все! — в исступлении вскричал Раскольников. — Да оставите ли вы меня, наконец, мучители! Я вас не боюсь! Я никого, никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, один!

— Пойдем! — сказал Зосимов, кивнув Разумихину.

— Помилуй, да разве можно его так оставлять.

— Пойдем! — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его.

— Хуже могло быть, если бы мы его не послушались, — сказал Зосимов уже на лестнице. — Раздражать невозможно...

— Что с ним?

— Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего! Давеча он был в силах... Знаешь, у него что-то есть на уме! Что-то неподвижное, тяготящее... Этого я очень боюсь; непременно!

— Да вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович! По разговору видно, что он женится на его сестре и что Родя об этом, перед самой болезнью, письмо получил...

— Да; черт его принес теперь; может быть, расстроил все дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все от малчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит: это убийство...

— Да, да! — подхватил Разумихин, — очень заметил! Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали, в конторе у надзирателя; в обморок упал.

— Ты мне это Расскажи подробнее вечером, а я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня, очень! Через полчаса зайду навеститься... Воспаления, впрочем, не будет...

— Спасибо тебе! А я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью...

Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью; но та еще медлила уходить.

— Чаю-то теперь выпьешь? — спросила она.

— После! Я спать хочу! Оставь меня...

Он судорожно отвернулся к стене; Настасья вышла.

❧ Задания ❧

- ✎ Как описывает автор появление Лужина в каморке Раскольникова?
- ✎ Чем выделяется Лужин среди собравшихся здесь?
- ✎ В чем особенность его речи?
- ✎ Как воспринимает Раскольников все сказанное Лужиным?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

V

Тот уже входил в комнаты. Он вошел с таким видом, как будто изо всей силы сдерживался, чтобы не прыснуть как-нибудь со смеху. За ним, с совершенно опрокинутою и свирепою физиономией, красный, как пион, долговязо и неловко, вошел стыдящийся Разумихин. Лицо его и вся фигура действительно были в эту минуту смешны и оправдывали смех Раскольникова. Раскольников, еще не представленный, поклонился стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядевшему на них хозяину, протянул и пожал ему руку все еще с видимым чрезвычайным усилием подавить свою веселость и по крайней мере хоть два-три слова выговорить, чтоб отрекомендовать себя. Но едва только он успел принять серьезный вид и что-то пробормотать — вдруг, как бы невольно, взглянул опять на Разумихина и тут уже не мог выдержать: подавленный смех прорвался тем неудержимее, чем сильнее до сих пор сдерживался. Необыкновенная свирепость, с которою принимал этот «задушевный» смех Разумихин, придавала всей этой сцене вид самой искренней веселости и, главное, натуральности. Разумихин, как нарочно, еще помог делу.

— Фу черт! — заревел он, махнув рукой, и как раз ударил ее об маленький круглый столик, на котором стоял допитый стакан чаю. Все полетело и зазвенело.

— Да зачем же стулья-то ломать, господа, казне ведь убыток! — весело закричал Порфирий Петрович.

Сцена представлялась таким образом: Раскольников досмешивался, забыв свою руку в руке хозяина, но, зная мерку, выжидал мгновения поскорее и натуральнее кончить. Разумихин, сконфуженный окончательно падением столика и разбившимся стаканом, мрачно поглядел на осколки, плюнул и

круто повернул к окну, где и стал спиной к публике, с страшно нахмуренным лицом, смотря в окно и ничего не видя. Порфирий Петрович смеялся и желал смеяться, но очевидно было, что ему надо объяснений. В углу на стуле сидел Заметов, привставший при входе гостей и стоявший в ожидании, раздвинув в улыбку рот, но с недоумением и даже как будто с недоверчивостью смотря на всю сцену, а на Раскольников даже с каким-то замешательством. Неожданное присутствие Заметова неприятно поразило Раскольникова.

«Это еще надо сообразить!» — подумал он.

— Извините, пожалуйста, — начал он, усиленно законфузившись, — Раскольников...

— Помилуйте, очень приятно-с, да и приятно вы так вошли... Что ж, он и здороваться уж не хочет? — кивнул Порфирий Петрович на Разумихина.

— Ей-богу, не знаю, чего он на меня взбесился. Я сказал ему только дорогой, что он на Ромео похож, и... и доказал, и больше ничего, кажется, не было.

— Свинья! — отозвался, не оборачиваясь, Разумихин.

— Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться, — рассмеялся Порфирий.

— Ну, ты! следовательно!.. Ну, да черт с вами со всеми! — отрезал Разумихин и вдруг, рассмеявшись сам, с повеселевшим лицом, как ни в чем не бывало подошел к Порфирию Петровичу.

— Шабаш! Все дураки; к делу: вот приятель, Родион Романович Раскольников, во-первых, наслышан и познакомиться пожелал, а во-вторых, дельце малое до тебя имеет. Ба! Заметов! Ты здесь каким образом? Да разве вы знакомы? Давно ль сошлись?

«Это что еще!» — тревожно подумал Раскольников.

Заметов как будто законфузился, но не очень.

— Вчера у тебя же познакомились, — сказал он развязно.

— Значит, от убытка Бог избавил: на прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе, Порфирий, откомендоваться, а вы и без меня снюхались... Где у тебя табак?

Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-

желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать.

Порфирий Петрович, как только услышал, что гость имеет до него «дельце», тотчас же попросил его сесть на диван, сам уселся на другом конце и устался в гостя, в немедленном ожидании изложения дела, с тем усиленным и уж слишком серьезным вниманием, которое даже тяготит и смущает с первого раза, особенно по незнакомству, и особенно если то, что вы излагаете, по собственному вашему мнению, далеко не в пропорции с таким необыкновенно важным, оказываемым вам вниманием. Но Раскольников в коротких и связных словах, ясно и точно изъяснил свое дело и собой остался доволен так, что даже успел довольно хорошо осмотреть Порфирия. Порфирий Петрович тоже ни разу не свел с него глаз во все время. Разумихин, поместившись напротив, за тем же столом, горячо и нетерпеливо следил за изложением дела, поминутно переводя глаза с того на другого и обратно, что уже выходило немного из мерки.

«Дурак!» — ругнул про себя Раскольников.

— Вам следует подать объявление в полицию, — с самым деловым видом отвечал Порфирий, — о том-с, что, известившись о таком-то происшествии, то есть об этом убийстве, — вы просите в свою очередь уведомить следователя, которому поручено дело, что такие-то вещи принадлежат вам и что вы желаете их выкупить... или там... да вам, впрочем, напишут.

— То-то и дело, что я, в настоящую минуту, — как можно больше постарался законфузиться Раскольников, — не совсем при деньгах... и даже такой мелочи не могу... я, вот видите ли, желал бы теперь только заявить, что эти вещи мои, но что когда будут деньги...

— Это все равно-с, — ответил Порфирий Петрович, холодно принимая разъяснение о финансах, — а впрочем, можно вам и прямо, если захотите, написать ко мне, в том же смысле, что вот, известясь о том-то и объявляя о таких-то моих вещах, прошу...

— Это ведь на простой бумаге? — поспешил перебить Раскольников, опять интересуясь финансовой частью дела.

— О, на самой простейшей-с! — и вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере что-то такое было. Раскольников побожился, бы, что он ему подмигнул, черт знает для чего.

«Знает!» — промелькнуло в нем как молния.

— Извините, что такими пустяками беспокоил, — продолжал он, несколько сбившись, — вещи мои стоят всего пять рублей, но они мне особенно дороги, как память тех, от кого достались, и, признаюсь, я, как узнал, очень испугался...

— То-то ты так вспорхнул вчера, когда я Зосимову сболтнул, что Порфирий закладчиков опрашивает! — ввернул Разумихин, с видимым намерением.

Это уже было невыносимо. Раскольников не вытерпел и злобно сверкнул на него загоревшимися гневом черными своими глазами. Тотчас же и опомнился.

— Ты, брат, кажется, надо мной подсмеиваешься? — обратился он к нему с ловко выделанным раздражением. — Я согласен, что, может быть, уже слишком забочусь об этой дряни на твои глаза; но нельзя же считать меня за это ни эгоистом, ни жадным, и на мои глаза эти две ничтожные вещицы могут быть вовсе не дрянь. Я тебе уже говорил сейчас, что эти серебряные часы, которым грош цена, единственная вещь, что после отца осталась. Надо мной смейся, но ко мне мать приехала, — повернулся он вдруг к Порфирию, — и если б она узнала, — отвернулся он опять поскорей к Разумихину, стараясь особенно, чтобы задрожал голос, — что эти часы пропали, то, клянусь, она была бы в отчаянии! Женщины!

— Да вовсе же нет! Я вовсе не в том смысле! Я совершенно напротив! — кричал огорченный Разумихин.

«Хорошо ли? Натурально ли? Не преувеличил ли? — трепетал про себя Раскольников. — Зачем сказал: “женщины”?»

— А к вам матушка приехала? — осведомился для чего-то Порфирий Петрович.

— Да.

— Когда же это-с?

— Вчера вечером.

Порфирий помолчал, как бы соображая.

— Вещи ваши ни в каком случае и не могли пропасть, — спокойно и холодно продолжал он. — Ведь я уже давно вас здесь поджидаю.

И как ни в чем не бывало он заботливо стал подставлять пепельницу Разумихину, беспощадно сорившему на ковер папироской. Раскольников вздрогнул, но Порфирий как будто и не глядел, все еще озабоченный папироской Разумихина.

— Что-о? Поджидал! Да ты разве знал, что и он *там* закладывал? — крикнул Разумихин.

Порфирий Петрович прямо обратился к Раскольникову:

— Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у *ней* под одну бумажку завернуты, а на бумажке ваше имя карандашом четко обозначено, ровно как и число месяца, когда она их от вас получила...

— Как это вы так заметливы?.. — неловко усмехнулся было Раскольников, особенно стараясь смотреть ему прямо в глаза; но не смог утерпеть и вдруг прибавил: — Я потому так заметил сейчас, что, вероятно, очень много было закладчиков... так что вам трудно было бы их всех помнить... А вы, напротив, так отчетливо всех их помните, и... и...

«Глупо! Слабо! Зачем я это прибавил!»

— А почти все закладчики теперь уж известны, так что вы только одни и не изволили пожаловать, — ответил Порфирий с чуть приметным оттенком насмешливости.

— Я не совсем был здоров.

— И об этом слышал-с. Слышал даже, что уж очень были чем-то расстроены. Вы и теперь как будто бледны?

— Совсем не бледен... напротив, совсем здоров! — грубо и злобно отрезал Раскольников, вдруг переменяя тон. Злоба в нем накипала, и он не мог подавить ее. «А в злобе-то и проговорюсь! — промелькнуло в нем опять. — А зачем они меня мучают!..»

— Не совсем здоров! — подхватил Разумихин. — Эвона сморозил! До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил... Ну, веришь, Порфирий, сам едва на ногах, а чуть только мы, я да Зосимов, вчера отвернулись — оделся и удрал потихоньку и куролесил где-то чуть не до полночи, и это в совершеннейшем, я тебе скажу, бреду, можешь ты это представить! Замечательнейший случай!

— И неужели в *совершеннейшем бреде*? Скажите пожалуйста! — с каким-то бабьим жестом покачал головою Порфирий.

— Э, вздор! Не верьте! А впрочем, ведь вы и без того не верите! — слишком уж со зла сорвалось у Раскольникова. Но Порфирий Петрович как будто не расслышал этих странных слов.

— Да как же мог ты выйти, коли не в бреду? — разгорячился вдруг Разумихин. — Зачем вышел? Для чего?.. И почему именно тайком? Ну был ли в тебе тогда здравый смысл? Теперь, когда вся опасность прошла, я уж прямо тебе говорю!

— Надоели они мне очень вчера, — обратился вдруг Раскольников к Порфирию с нахально-вызывающею усмешкой, — я и убежал от них квартиру нанять, чтоб они меня не сыскали, и денег кучу с собой захватил. Вон господин Заметов видел деньги-то. А что, господин Заметов, умен я был вчера или в бреду, разрешите-ка спор?

Он бы, кажется, так и задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравились.

— По-моему, вы говорили весьма разумно-с и даже хитро-с, только раздражительны были уж слишком, — сухо заявил Заметов.

— А сегодня сказывал мне Никодим Фомич, — ввернул Порфирий Петрович, — что встретил вас вчера уж очень поздно, в квартире одного, раздавленного лошадьми, чиновника...

— Ну вот хоть бы этот чиновник! — подхватил Разумихин, — ну, не сумасшедший ли был ты у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал! Ну, захотел помочь — дай пятнадцать, дай двадцать, ну да хоть три целковых себе оставь, а то все двадцать пять так и отвалил!

— А может, я где-нибудь клад нашел, а ты не знаешь? Вот я вчера и расшедрился... Вон господин Заметов знает, что я клад нашел!.. Вы извините, пожалуйста, — обратился он со вздрагивающими губами к Порфирию, — что мы вас пустяжным таким перебором полчаса беспокоим. Надоели ведь, а?

— Помилуйте-с, напротив, на-а-против! Если бы вы знали, как вы меня интересуете! Любопытно и смотреть и слушать... и я, признаюсь, так рад, что вы изволили, наконец, пожаловать...

— Да дай хоть чаю-то! Горло пересохло! — вскричал Разумихин.

— Прекрасная идея! Может, и все компанию сделают. А не хочешь ли... посущественнее, перед чаем-то?

— Убирайся!

Порфирий Петрович вышел приказать чаю.

Мысли крутились, как вихрь, в голове Раскольникова. Он был ужасно раздражен. «Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотят! А по какому случаю, коль меня совсем не знаешь, говорил ты обо мне с Никодимом Фомичем?

Стало быть, уж и скрывать не хотят, что следят за мной, как стая собак! Так откровенно в рожу и плюют! — дрожал он от бешенства. — Ну, бейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью. Это ведь невежливо, Порфирий Петрович, ведь я еще, может быть, не позволю-с!.. Встану, да и брякну всем в рожу всю правду; и увидите, как я вас презираю!.. — Он с трудом перевел дыхание. — А что, если мне так только кажется? Что, если это мираж и я во всем ошибаюсь, по неопытности злюсь, подлой роли моей не выдерживаю? Может быть, это все без намерения? Все слова их обыкновенные, но что-то в них есть... Все это всегда можно сказать, но что-то есть. Почему он сказал прямо "у ней"? Почему Заметов прибавил, что я *хитро* говорил? Почему они говорят таким тоном? Да... тон... Разумихин тут же сидел, почему ж ему ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не кажется! Опять лихорадка!.. Подмигнул мне давеча Порфирий аль нет? Верно, вздор; для чего бы подмигивать? Нервы, что ль, хотят мои раздражить али дразнят меня? Или все мираж, или *знают!*.. Даже Заметов дерзок... Дерзок ли Заметов? Заметов передумал за ночь. Я и предчувствовал, что передумает! Он здесь как свой, а сам в первый раз. Порфирий его за гостя не считает, к нему задом сидит. Снюхались! Непременно *из-за меня* снюхались! Непременно до нас обо мне говорили!.. Знают ли про квартиру-то? Поскорей бы уж!.. Когда я сказал, что квартиру нанять вчера убежал, он пропустил, не поднял... А это я ловко про квартиру ввернул: потом пригодится!.. В бреду, дескать!.. Ха, ха, ха! Он про весь вечер вчерашний знает! Про приезд матери не знал!.. А ведьма и число прописала карандашом!.. Врете, не дамся! Ведь это еще не факты, это только мираж! Нет, вы давайте-ка фактов! И квартира не факт, а бред; я знаю, что им говорить... Знают ли про квартиру-то? Не уйду, не узнав! Зачем я пришел? А вот что я злюсь теперь, так это, пожалуй, и факт! Фу, как я раздражителен! А может, и хорошо; болезненная роль... Он меня оцупывает. Сбивать будет. Зачем я пришел?»

Все это, как молния, пронеслось в его голове.

Порфирий Петрович мигом воротился. Он вдруг как-то поседел.

— У меня, брат, со вчерашнего твоего голова... Да и весь я как-то развинутился, — начал он совсем другим тоном, смеясь, к Разумихину.

— А что, интересно было? Я ведь вас вчера на самом интересном пункте бросил? Кто победил?

— Да никто, разумеется. На вековые вопросы съехали, на воздушных шарах.

— Вообрази, Родя, на что вчера съехали: есть или нет преступление? Говорил, что до чертиков доврались!

— Что ж удивительного? Обыкновенный социальный вопрос, — рассеяно ответил Раскольников.

— Вопрос был не так формулирован, — заметил Порфирий.

— Не совсем так, это правда, — тотчас же согласился Разумихин, торопясь и разгораясь по обыкновению. — Видишь, Родион... <...> ...Преступление есть протест против ненормальности социального устройства — и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, — и ничего!..

— Вот и соврал! — крикнул Порфирий Петрович. Он, видимо, оживлялся и поминутно смеялся, смотря на Разумихина, чем еще более поджигал его.

— Ничего не допускается! — с жаром перебил Разумихин, — не вру!.. Я тебе книжки ихние покажу: все у них потому, что «среда заела», — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество, развившись историческим, *живым* путем до конца, само собою обратится, наконец, в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: «безобразия одни в ней да глупости» — и все одною только глупостью объясняется! Оттого так и не любят *живого* процесса жизни: не надо *живой души*! Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, — зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется! И выходит в результате, что всё на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в фаланстере¹ свели! фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, жизненного процесса еще не

¹ *Фаланстеры* — по учению Фурье, грандиозные дворцы общежития для людей будущего социалистического общества.

завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках уместается!

— Ведь вот прорвался, барабанит! За руки держать надо, — смеялся Порфирий. — Вообразите, — обернулся он к Раскольникову, — вот так же вчера вечером, в одной комнате, в шесть голосов, да еще пуншем напоил предварительно, — можете себе представить? Нет, брат, ты врешь: «среда» многое в преступлении значит; это я тебе подтверждаю.

— И сам знаю, что много, да ты вот что скажи: сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку, — среда, что ль, его на это понудила?

— А что ж, оно в строгом смысле, пожалуй, что и среда, — с удивительной важностью заметил Порфирий, — преступление над девочкой очень и очень даже можно «средой» объяснить.

Разумихин чуть в бешенство не пришел.

— Ну, да хочешь я тебе сейчас *выведу*, — заревел он, — что у тебя белые ресницы единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком? Берусь! Ну, хочешь пари!

— Принимаю! Послушаем, пожалуйста, как он выведет!

— Да ведь все притворяется, черт! — вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой. — Ну стоит ли с тобой говорить! Ведь он это все нарочно, ты еще не знаешь его, Родион! И вчера их сторону принял, только чтобы всех одурачить. И что ж он говорил вчера, Господи! А они-то ему обрадовались!.. Ведь он по две недели таким образом выдерживает. Прошлого года уверил нас для чего-то, что в монахи идет: два месяца стоял на своем! Недавно вздумал уверять, что женится, что все уж готово к венцу. Платье даже новое сшил. Мы уж стали его поздравлять. Ни невесты, ничего не бывало: все мираж!

— А вот соврал! Я платье сшил прежде. Мне по поводу нового платья и пришло в голову вас всех поднадуть.

— В самом деле вы такой притворщик? — спросил небрежно Раскольников.

— А вы думали, нет? Подождите, я и вас проведу — ха, ха, ха! Нет, видите ли-с, я вам всю правду скажу. По поводу всех этих вопросов, преступлений, среды, девочек мне вспом-

нилась теперь, — а впрочем, и всегда интересовала меня, — одна ваша статейка. «О преступлении»... или как там у вас, забыл название, не помню. Два месяца назад имел удовольствие в «Периодической речи» прочесть.

— Моя статья? В «Периодической речи»? — с удивлением спросил Раскольников, — я действительно написал полгода назад, когда из университета вышел, по поводу одной книги одну статью, но я снес ее тогда в газету «Еженедельная речь», а не в «Периодическую».

— А попала в «Периодическую».

— Да ведь «Еженедельная речь» перестала существовать, потому тогда и не напечатали...

— Это правда-с; но, переставая существовать, «Еженедельная речь» соединилась с «Периодическою речью», а потому и статейка ваша, два месяца назад, явилась в «Периодической речи». А вы не знали?

Раскольников действительно ничего не знал.

— Помилуйте, да вы деньги можете с них спросить за статью! Какой, однако ж, у вас характер! Живете так уединенно, что таких вещей, до вас прямо касающихся, не ведаете. Это ведь факт-с.

— Браво, Родька! И я тоже не знал! — вскричал Разумихин. — Сегодня же в читальню забегу и номер спрошу! Два месяца назад? Которого числа? Все равно разыщу! Вот штука-то! И не скажет!

— А вы почему узнали, что статья моя? Она буквой подписана.

— А случайно, и то на днях. Через редактора; я знаком... Весьма заинтересовался.

— Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления.

— Да-с, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень, очень оригинально, но... меня собственно не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намеком, неясно... Одним словом, если припомните, проводится некоторый намек на то, что существуют на свете будто бы некоторые такие лица, которые могут... то есть не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления, и что для них будто бы и закон не писан.

Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи.

— Как? Что такое? Право на преступление? Но ведь не потому, что «заела среда»? — с каким-то даже испугом осведомился Разумихин.

— Нет, нет, не совсем потому, — ответил Порфирий. — Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права переступить закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные. Так у вас, кажется, если только не ошибаюсь?

— Да как же это? Быть не может, чтобы так! — в недоумении бормотал Разумихин.

Раскольников усмехнулся опять. Он разом понял, в чем дело и на что его хотят натолкнуть; он помнил свою статью. Он решил принять вызов.

— Это не совсем так у меня, — начал он просто и скромно. — Впрочем, признаюсь, вы почти верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно... (Ему точно приятно было согласиться, что совершенно верно.) Разница единственно в том, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что статья моя неясна; я готов ее вам разъяснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, предполагая, что вам, кажется, того и хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия, вследствие каких-нибудь комбинаций, никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречаемых и поперечных, или воровать каждый день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что

все... ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться. Одним словом, вы видите, что, до сих пор, тут нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было напечатано и прочитано. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются *вообще* на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унижительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многообразны; большею частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю

в моей статье об их праве на преступление. (Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось.) Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее). Первый разряд всегда — господин настоящего, второй разряд — господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют, и — *vive la guerre éternelle*¹, — до Нового Иерусалима, разумеется!

— Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?

— Верую, — твердо отвечал Раскольников; говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре.

— И-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытствую.

— Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.

— И-и в Воскресение Лазаря веруете?

— Ве-верую. Зачем вам все это?

— Буквально веруете?

— Буквально.

— Вот как-с... так полюбопытствовал. Извините-с. Но позвольте, — обращаюсь к давешнему, — ведь их не всегда же казнят; иные напротив...

— Торжествуют при жизни? О да, иные достигают и при жизни, и тогда...

— Сами начинают казнить?

— Если надо и, знаете, даже большею частию. Вообще замечание ваше остроумно.

— Благодарю-с. Но вот что скажите: чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ль, знаки такие есть? Я в том смысле, что тут надо бы по более точности, так сказать более наружной определенности: извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли,

¹ Да здравствует вековая война (франц.).

какие?.. Потому, согласитесь, если произойдет путаница и один из одного разряда вообразит, что он принадлежит к другому разряду, и начнет «устранять все препятствия», как вы весьма счастливо выразились, так ведь тут...

— О, это весьма часто бывает! Это замечание ваше еще даже остроумнее давешнего...

— Благодарю-с...

— Не стоит-с; но примите в соображение, что ошибка возможна ведь только со стороны первого разряда, то есть «обыкновенных» людей (как я, может быть очень неудачно, их назвал). Несмотря на врожденную склонность их к послушанию, по некоторой игривости природы, в которой не отказано даже и корове, весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, «разрушителями» и лезть в «новое слово», и это совершенно искренно-с. Действительно же *новых* они в то же время весьма часто не замечают и даже презируют, как отсталых и унизительно думающих людей. Но, по-моему, тут не может быть значительной опасности, и вам, право, нечего беспокоиться, потому что они никогда далеко не шагают. За увлечение, конечно, их можно иногда бы посесть, чтобы напомнить им свое место, но не более; тут и исполнителя даже не надо: они сами себя посекут, потому что очень благонравны; иные друг дружке эту услугу оказывают, а другие сами себя собственноручно... Покаяния разные публичные при сем на себя налагают, — выходит красиво и назидательно, одним словом, вам беспокоиться нечего... Такой закон есть.

— Ну, по крайней мере с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили; но вот ведь опять беда-с: скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то резать право имеют, «необыкновенных-то» этих? Я, конечно, готов преклониться, но ведь согласитесь, жутко-с, если уж очень-то много их будет, а?

— О, не беспокойтесь и в этом, — тем же тоном продолжал Раскольников. — Вообще людей с новой мыслью, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь *новое*, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей, всех этих разрядов и подразделений, должно быть весьма верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным. Огромная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы, наконец, чрез

какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород, понатужиться и породить, наконец, на свет, ну хоть из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один (я говорю примерно, наглядно). Еще с более широкою, из ста тысяч один. Гениальные люди из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысячей миллионов людей на земле. Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно есть и должен быть; тут не может быть случая.

— Да что вы оба, шутите, что ль? — вскричал, наконец, Разумихин. — Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один над другим подшучивают! Ты серьезно, Родя?

Раскольников молча поднял на него свое бледное и почти грустное лицо и ничего не ответил. И странно показалась Разумихину, рядом с этим тихим и грустным лицом, нескрываемая, навязчивая, раздражительная и *невежливая* язвительность Порфирия.

— Ну, брат, если действительно это серьезно, то... Ты, конечно, прав, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали; но что действительно *оригинально* во всем этом, — и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, — это то, что все-таки кровь *по совести* разрешаешь, и, извини меня, с таким фанатизмом даже... В этом, стало быть, и главная мысль твоей статьи заключается. Ведь это разрешение крови *по совести*, это... это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...

— Совершенно справедливо, страшнее-с, — отозвался Порфирий.

— Нет, ты как-нибудь да увлекся! Тут ошибка. Я прочту... Ты увлекся! Ты не можешь так думать... Прочту.

— В статье всего этого нет, там только намеки, — проговорил Раскольников.

— Так-с, так-с, — не сиделось Порфирию, — мне почти стало ясно теперь, как вы на преступление изволите смотреть-с, но... уж извините меня за мою назойливость (беспокою уж очень вас, самому совестно!) — видите ли-с: успокоили вы меня давеча очень-с насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов, но... меня все тут практические разные случаи опять беспокоят! Ну как иной какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург али Магомет... — будущий,

разумеется, — да и давай устранять к тому все препятствия... Предстоит, дескать, далекий поход, а в поход деньги нужны... ну и начнет добывать себе для похода... знаете?

Заметов вдруг фыркнул из своего угла. Раскольников даже глаз на него не поднял.

— Я должен согласиться, — спокойно отвечал он, — что такие случаи действительно должны быть. Глупенькие и тщеславные особенно на эту удочку попадаются; молодежь в особенности.

— Вот видите-с. Ну так как же-с?

— Да и так же, — усмехнулся Раскольников, — не я в этом виноват. Так есть и будет всегда. Вот он (он кивнул на Разумихина) говорил сейчас, что я кровь разрешаю. Так что же? Общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами, — чего же беспокоить-ся? И ищите вора!..

— Ну, а коль сыщем?

— Туда ему и дорога.

— Вы таки логичны. Ну-с, а насчет его совести-то?

— Да какое вам до нее дело?

— Да так уж, по гуманности-с.

— У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему, — опричь каторги.

— Ну, а действительно-то гениальные, — нахмурясь, спросил Разумихин, — вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую?

— Зачем тут слово: *должны*? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву... Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть, — прибавил он вдруг задумчиво, даже не в тон разговора.

Он поднял глаза, вдумчиво посмотрел на всех, улыбнулся и взял фуражку. Он был слишком спокоен сравнительно с тем, как вошел давеча, и чувствовал это. Все встали.

— Ну-с, браните меня или нет, сердитесь или нет, а я не могу утерпеть, — заключил опять Порфирий Петрович, — позвольте еще вопросик один (очень уж я вас беспокою-с!), одну только маленькую идейку хотел пропустить, единственно только, чтобы не забыть-с...

— Хорошо, скажите вашу идейку, — серьезный и бледный стоял перед ним в ожидании Раскольников.

— Ведь вот-с... право, не знаю, как бы удачнее выразиться... идея-то уж слишком игривенькая... психологическая-с... Ведь вот-с, когда вы вашу статейку-то сочиняли, — ведь уж быть того не может, хе, хе! чтобы вы сами себя не считали, — ну хоть на капельку, — тоже человеком «необыкновенным» и говорящим *новое слово*, — в вашем то есть смысле-с... Ведь так-с?

— Очень может быть, — презрительно ответил Раскольников.

Разумихин сделал движение.

— А коль так-с, то неужели вы бы сами решились, — ну там, ввиду житейских каких-нибудь неудач и стеснений или для споспешествования как-нибудь всему человечеству, — перешагнуть через препятствие-то?.. Ну, например, убить и ограбить?..

И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно, — точь-в-точь как давеча.

— Если б я и перешагнул, то уж, конечно бы, вам не сказал, — с вызывающим, надменным презрением ответил Раскольников.

— Нет-с, это ведь я так только интересуюсь, собственно для уразумения вашей статьи, в литературном только одном отношении-с...

«Фу, как это явно и нагло!» — с отвращением подумал Раскольников.

— Позвольте вам заметить, — отвечал он сухо, — что Магометом иль Наполеоном я себя не считаю... ни кем бы то ни было из подобных лиц, следственно и не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения о том, как бы я поступил.

— Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? — с страшною фамильярностью произнес вдруг Порфирий. Даже в интонации его голоса было на этот раз нечто уж особенно ясное.

— Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором уколошил? — брякнул вдруг из угла Заметов.

Раскольников молчал и пристально, твердо смотрел на Порфирия. Разумихин мрачно нахмурился. Ему уж и прежде стало как будто что-то казаться. Он гневно посмотрел кругом. Прошла минута мрачного молчания. Раскольников повернулся уходить.

— Вы уж уходите! — ласково проговорил Порфирий, чрезвычайно любезно протягивая руку. — Очень, очень рад

знакомству. А насчет вашей просьбы не имейте и сомнения. Так-таки и напишите, как я вам говорил. Да лучше всего зайдите ко мне туда сами... как-нибудь на днях... да хоть завтра. Я буду там часов этак в одиннадцать, наверно. Все и устроим... поговорим... Вы же, как один из последних, *там* бывших, может что-нибудь и сказать бы нам могли... — прибавил он с добродушнейшим видом.

— Вы хотите меня официально допрашивать, со всею обстановкой? — резко спросил Раскольников.

— Зачем же-с? Покамест это вовсе не требуется. Вы не так поняли. Я, видите ли, не упускаю случая и... и со всеми закладчиками уже разговаривал... от иных отбирал показания... а вы, как последний... Да вот, кстати же! — вскрикнул он, чему-то внезапно обрадовавшись, — кстати вспомнил, что ж это я!.. — повернулся он к Разумихину, — вот ведь ты об этом Николашке мне тогда уши промозолил... ну, ведь и сам знаю, сам знаю, — повернулся он к Раскольникову, — что парень чист, да ведь что ж делать, и Митьку вот пришлось беспокоить... вот в чем дело-с, вся-то суть-с: проходя тогда по лестнице... позвольте: ведь вы в восьмом часу были-с?

— В восьмом, — отвечал Раскольников, неприятно почувствовав в ту же секунду, что мог бы этого и не говорить.

— Так проходя-то в восьмом часу-с, по лестнице-то, не видели ль хоть вы, во втором-то этаже, в квартире-то отворенной — помните? — двух работников или хоть одного из них? Они красили там, не заметили ли? Это очень, очень важно для них!..

— Красильщиков? Нет, не видал... — медленно и как бы роясь в воспоминаниях отвечал Раскольников, в тот же миг напрягаясь всем существом своим и замирая от муки поскорей бы отгадать, в чем именно ловушка, и не просмотреть бы чего? — Нет, не видал, да и квартиры такой, отпертой, что-то не заметил... а вот в четвертом этаже (он уже вполне овладел ловушкой и торжествовал) — так помню, что чиновник один переезжал из квартиры... напротив Алены Ивановны... помню... это я ясно помню... солдаты диван какой-то выносили и меня к стене прижали... а красильщиков — нет, не помню, чтобы красильщики были... да и квартиры отпертой нигде, кажется, не было. Да; не было...

— Да ты что же! — крикнул вдруг Разумихин, как бы опомнившись и сообразив, — да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а ведь он за три дня там был? Ты что спрашиваешь-то?

— Фу! перемешал! — хлопнул себя по лбу Порфирий. — Черт возьми, у меня с этим делом ум за разум заходит! — обрattился он, как бы даже извиняясь, к Раскольникову, — нам ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их, в восьмом-то часу, в квартире-то, что мне и вообразись сейчас, что вы тоже могли бы сказать... совсем перемешал!

— Так надо быть внимательнее — угрюмо заметил Разумихин.

Последние слова были сказаны уже в передней. Порфирий Петрович проводил их до самой двери чрезвычайно любезно. Оба вышли мрачные и хмурые на улицу и несколько шагов не говорили ни слова. Раскольников глубоко перевел дыхание...

❧ Задания ❧

- В чем заключается теория Раскольникова?
- После каких размышлений он приходит к такой теории?
- Что побудило Раскольникова к этим размышлениям?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

IV

А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого цвета. Он доискался дворника и получил от него неопределенные указания, где живет Капернаумов портной. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж и вышел на галерею, обходящую его со стороны двора. Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову, вдруг, в трех шагах от него, отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально.

— Кто тут? — тревожно спросил женский голос.

— Это я... к вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю.

Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.

— Это вы! Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная.

— Куда к вам? сюда?

И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату.

Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечку и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невы-

разимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах... Ей было и тошно, и стыдно, и сладко... Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успел он охватить взглядом комнату.

Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная, отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим номером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. По той же стене, где была кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, покрытый синенькою скатертью; около стола два плетеных стула. Затем, у противоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте. Вот все, что было в комнате. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок.

Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи.

— Я поздно... Одиннадцать часов есть? — спросил он, все еще не подымая на нее глаз.

— Есть, — пробормотала Соня. — Ах да, есть! — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход, — сейчас у хозяев часы пробили... и я сама слышала... Есть.

— Я к вам в последний раз пришел, — угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый, — я, может быть, вас не увижу больше...

— Вы... едете?

— Не знаю... всё завтра...

— Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? — дрогнул голос у Сони.

— Не знаю. Всё завтра утром... Не в том дело: я пришел одно слово сказать...

Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она все еще стоит перед ним.

— Что ж вы стоите? Сядьте, — проговорил он вдруг переменившимся, тихим и ласковым голосом.

Она села. Он приветливо и почти с состраданием посмотрел на нее с минуту.

— Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! Совсем прозрачная. Пальцы, как у мертвой.

Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась.

— Я и всегда такая была, — сказала она.

— Когда и дома жили?

— Да.

— Ну, да уж конечно! — произнес он отрывисто, и выражение лица его и звук голоса опять вдруг переменились. Он еще раз огляделся кругом.

— Это вы от Капернаумова нанимаете?

— Да-с...

— Они там, за дверью?

— Да... У них тоже такая же комната.

— Все в одной?

— В одной-с.

— Я бы в вашей комнате по ночам боялся, — угрюмо заметил он.

— Хозяева очень хорошие, очень ласковые, — отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся мебель, и все... все хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят...

— Это косноязычные-то?

— Да-с... Он заикается и хром тоже. И жена тоже... Не то что заикается, а как будто не все выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. А детей семь человек... и только старший один заикается, а другие просто больные... а не заикаются... А вы откуда про них знаете? — прибавила она с некоторым удивлением.

— Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал... И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятom назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла.

Соня смутилась.

— Я его точно сегодня видела, — прошептала она нерешительно.

— Кого?

— Отца. Я по улице шла, там подле, на углу, в десятом часу, а он будто впереди идет. И точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ивановне...

— Вы гуляли?

— Да, — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись.

— Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?

— Ах нет, что вы, что вы это, нет! — с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня.

— Так вы ее любите?

— Ее? Да ка-а-ак же! — протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. — Ах! вы ее... Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок... Ведь у ней ум совсем как помешан... от горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете... ах!

Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то *ненасытимое* сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее.

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная... Она справедливого ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует... И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается... Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!

— А с вами что будет?

Соня посмотрела вопросительно.

— Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде все было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?

— Не знаю, — грустно произнесла Соня.

— Они там останутся?

— Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.

— С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?

— Ах, нет, не говорите так!.. Мы одно, заодно живем, — вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точно как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. — Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? — спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого не заметили? Мешается; то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра все прилично было, закуски были и всё... то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она все надеется: говорит, что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так верит! так верит фантазиям-то! Ну разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день сегодня моет, чистит, чинит, корыто сама, с своею слабенькою-то силой, в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель; а то мы в ряды еще с ней утром ходили, башмачки Полечке и Лене купить, потому у них все развалились, только у нас денег-то и не достало по расчету, очень много не достало, а она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус есть, вы не знаете... Тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что не достало... Ах, как было жалко смотреть.

— Ну и понятно после того, что вы... так живете, — сказал с горькою усмешкой Раскольников.

— А вам разве не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня, — ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали еще ничего не видя. А если бы вы все-то видели, о Господи! А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах, как теперь, целый день вспоминать было больно!

Соня даже руки ломала, говоря, от боли воспоминания.

— Это вы-то жестокая?

— Да я, я! Я пришла тогда, — продолжала она, плача, — а покойник и говорит: «прочти мне, говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне... вот книжка», — какая-то книжка у него, у Андрея Семеныча достал, у Лебезятникова, тут живет, он такие смешные книжки всё доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное чтоб воротнички показать Катерине Ивановне; мне

Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста». *Пожалуйста* попросила, и уж так ей хотелось. А куда ей надевать? Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в зеркало, любит-ся, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст последнее, а тут вот попросила, — так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, говорю, Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что». Уж этого-то не надо было бы ей говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это было жалко смотреть... И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так бы, кажется, теперь все воротила, все переделала, все эти прежние слова... Ох, я... да что!.. вам ведь все равно!

— Эту Лизавету торговку вы знали?

— Да... А вы разве знали? — с некоторым удивлением переспросила Соня.

— Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

— Ох, нет, нет, нет! — И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрасывая, чтобы нет.

— Да ведь это ж лучше, коль умрет.

— Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.

— А дети-то? Куда ж вы тогда возьмете их, коль не к вам?

— Ох, уж не знаю! — вскрикнула Соня почти в отчаянии и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль уж много-много раз в ней самой мелькала, и он только испугнул опять эту мысль.

— Ну, а коль вы, еще при Катерине Ивановне, теперь, заболели и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? — безжалостно настаивал он.

— Ах, что вы, что вы! Этого-то уж не может быть! — и лицо Сони искривилось страшным испугом.

— Как не может быть? — продолжал Раскольников с жесткой усмешкой, — не застрахованы же вы? Тогда что с ними станет? На улицу всею гурьбой пойдут, она будет кашлять и просить и об стену где-нибудь головой стучать, как сегод-

ня, а дети плакать... А там упадет, в часть свезут, в больницу, умрет, а дети...

— Ох, нет!.. Бог этого не попустит! — вырвалось, наконец, из стесненной груди у Сони. Она слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него все и зависело.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

— А копить нельзя? На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет! А пробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой, наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. — Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

— Других допускает же.

— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. — повторяла она, не помня себя.

— Да, может, и Бога-то совсем нет, — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

— Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, — проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец, подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный,

острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел, как совсем сумасшедший.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческого поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

— Ах, что вы это им сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная, я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

— Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, — прибавил он почти восторженно, — а пуще всего, тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, — проговорил он, почти в исступлении, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!

— А с ними-то что будет? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значи-

ли для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и та жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканием об стену головою.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву...

«Ей три дороги, — думал он: — броситься в канаву, упасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее.

«Но неужели ж это правда, — воскликнул он про себя, — неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется, наконец, в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может! — восклицал он, как давеча Соня, — нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и *они, те...* Если же она до сих пор еще не сошла с ума... Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадною ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками и упи затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно так. Разве все это не признаки помешательства?»

Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее.

— Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — спросил он ее. Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

— Что ж бы я без Бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

«Ну, так и есть!» — подумал он.

— А тебе Бог что за это делает? — спросил он, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стойте!.. — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

«Так и есть! так и есть!» — повторял он настойчиво про себя.

— Все делает! — быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вот и исход! Вот и объяснение исхода!» — решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая! юродивая!» — твердил он про себя.

На комодѣ лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

— Это откуда? — крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола.

— Мне принесли, — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

— Кто принес?

— Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! странно!» — подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать.

— Где тут про Лазаря? — спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

— Про Воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня.

Она искоса глянула на него.

— Не там смотрите... в четвертом Евангелии... — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему.

— Найди и прочти мне, — сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать.

«Недели через три на седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», — бормотал он про себя.

Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу.

— Разве вы не читали? — спросила она, глянув на него через стол, исподлобья. Голос ее становился все суровее и суровее.

— Давно... Когда учился. Читай!

— А в церкви не слыхали?

— Я... не ходил. А ты часто ходишь?

— Н-нет, — прошептала Соня.

Раскольников усмехнулся.

— Понимаю... И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?

— Пойду. Я и на прошлой неделе была... панихиду служила.

— По ком?

— По Лизавете. Ее топором убили.

Нервы его раздражались все более и более. Голова начала кружиться.

— Ты с Лизаветой дружна была?

— Да... Она была справедливая... она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она Бога узрит.

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе — юродивые.

«Тут и сам станешь юродивым! заразительно!» — подумал он. — Читай! — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно.

Соня все колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на «несчастную помешанную».

— Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. — прошептала она тихо и как-то задыхаясь.

— Читай! Я так хочу! — настаивал он, — читала же Лизавете!

Соня развернула книгу и отыскивала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога.

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании...» — произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все *свое*. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, *тайну* ее, может быть еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно *ему*, чтоб он слышал, и непременно *теперь* — «что бы там ни вышло потом!»... Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженно-го волнения... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекающую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-го стиха:

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог».

Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос...

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: *Я есмь воскресение и жизнь*; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему:

(и, как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала:)

Так, Господи! Я верую, что ты Христос, сын Божий, грядущий в мир».

Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его; и сказала ему: Господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбел духом и возмущился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?»

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому...» — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... «И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: Отними-те камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи! уже смердит: ибо *четыре* дни, как он во гробе».

Она энергично ударила на слово: *четыре*.

«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь верить, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший,

(громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очию сама видела:)

оббитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него».

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— Все об Воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.

— Я о деле пришел говорить, — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем.

— Я сегодня родных бросил, — сказал он, — мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там все разорвал.

— Зачем? — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом.

— У меня теперь одна ты, — прибавил он. — Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!

Глаза его сверкали. «Как полоумный!» — подумала в свою очередь Соня.

— Куда идти? — в страхе спросила она и невольно отступила назад.

— Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, — и только. Одна цель!

Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен.

— Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, — продолжал он, — а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел.

— Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... *свою* (это все равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной... Но ты выдержат не можешь, и если останешься *одна*, сойдешь с ума, как

и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!

— Зачем? Зачем вы это! — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами.

— Зачем? Потому что так нельзя оставаться — вот зачем! Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит! Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети — образ Христов: «Сих есть царствие Божие». Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...

— Что же, что же делать? — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.

— Что делать? Сломать что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнью, может и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула от испуга.

— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденя от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Он вышел. Соня смотрела на него как на помешанного; но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. «Господи! как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!» Но в то же время *мысль* не приходила ей в голову. Никак! Никак!.. «О, он должен быть ужасно несчастен!.. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Чтó это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил... говорил (да, он ясно это сказал), что без нее уже жить не может... О Господи!»

В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он... он, с его бледным лицом, с горящими глазами... Он целует ей ноги, плачет... О Господи!

За дверью справа, за тою самою дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Ресслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире г-жи Ресслих и отдававшаяся от нее внаем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемою. А между тем, все это время, у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустою комнатою, достал стул и неслышно перенес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным и очень, очень понравился, — до того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра например, не подвергаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться покомфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие.

❧ Задания ❧

- ❧ Что подчеркивает писатель во внешнем облике Сони?
- ❧ С какой целью приходит Раскольников к Соне в первый раз?
- ❧ Какие чувства борются в Раскольникове во время чтения Библии?
- ❧ Какие вопросы задает Соне Раскольников? Какие аргументы Раскольникова опровергает «слабенькая» Соня?

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

IV

Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то, что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание

с Соней: он *должен был* объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно; он только *почувствовал* это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникову, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.

— Что бы со мной без вас-то было! — быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.

Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь как вчера.

— Что, Соня? — сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит, — ведь все дело-то упиралось на «общественное положение и сопричастные тому привычки». Поняли вы давеча это?

Страдание выразилось в лице ее.

— Только не говорите со мной, как вчера! — прервала она его. — Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно...

Она поскорей улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.

— Я слупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот... вы зайдете.

Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то «правды искать».

— Ах, боже мой! — вскинулась Соня, — пойдемте поскорее...

И она схватила свою мантильку.

— Вечно одно и то же! — вскричал раздражительно Раскольников. — У вас только и в мыслях, что они! Побудьте со мной.

— А... Катерина Ивановна?

— А Катерина Ивановна уж, конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому, — брюзгливо прибавил он. — Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты...

Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая.

— Положим, Лужин теперь не захотел, — начал он, не взглядывая на Соню. — Ну а если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?

— Да, — сказала она слабым голосом, — да! — повторила она, рассеянно и в тревоге.

— А ведь я и действительно мог не случиться! А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся.

Соня молчала.

— Ну а если б в острог, что тогда? Помните, что я вчера говорил?

Она опять не ответила. Тот переждал.

— А я думал, вы опять закричите: «Ах, не говорите, перестаньте!» — засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. — Что ж, опять молчание? — спросил он через минуту. — Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать? Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», как говорит Лебезятников. (Он как будто начинал путаться.) Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, впридачу (так как вы себя ни за что считаете, так *впридачу*). Полечка также... потому ей та же дорога. Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? то как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю.

Соня с беспокойством на него посмотрела: ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издали подходящей речи.

— Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, — сказала она, пытливо смотря на него.

— Хорошо; пусть; но, однако, как же бы решить-то?

— Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? — с отвлечением сказала Соня.

— Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости! Вы и этого решить не осмелились?

— Да ведь я Божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?

— Уж как Божий промысл замешается, так уж тут ничего не поделаешь, — угрюмо проворчал Раскольников.

— Говорите лучше прямо, чего вам надобно! — вскричала с страданием Соня, — вы опять на что-то наводите... Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли!

Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять.

— А ведь ты права, Соня, — тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменялся; выделанно-нахальный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. — Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу... Это я про Лужина и промысл для себя говорил... Я это прощения просил, Соня...

Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.

И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что *та* минута пришла.

Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню, и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель.

Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более».

— Что с вами? — спросила Соня, ужасно оробевшая.

Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал *объявить* и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо: он обернул к ней мертво-бледное лицо свое; губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.

— Что с вами? — повторила она, слегка от него отстраняясь.

— Ничего, Соня. Не пугайся... Вздор! Право, если рассудить, — вздор, — бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреду. — Зачем только тебя-то я пришел мучить? — прибавил он вдруг, смотря на нее. — Право. Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня...

Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая непрерывную дрожь во всем своем теле.

— Ох, как вы мучаетесь! — с страданием произнесла она, вглядываясь в него.

— Все вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), — помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?

Соня беспокойно ждала.

— Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе... кто убил Лизавету.

Она вдруг задрожала всем телом.

— Ну, так вот я и пришел сказать.

— Так вы это в самом деле вчера... — с трудом прошептала она, — почему ж вы знаете? — быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.

Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось все бледнее и бледнее.

— Знаю.

Она помолчала с минуту.

— Нашли, что ли, *его*? — робко спросила она.

— Нет, не нашли.

— Так как же вы про *это* знаете? — опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.

Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.

— Угадай, — проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.

Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.

— Да вы... меня... что же вы меня так... пугаете? — проговорила она, улыбаясь, как ребенок.

— Стало быть, я с *ним* приятель большой... коли знаю, — продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, — он Лизавету эту... убить не хотел... Он ее... убил нечаянно... Он старуху убить хотел... когда она была одна... и пришел... А тут вошла Лизавета... Он тут... и ее убил.

Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга.

— Так не можешь угадать-то? — спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.

— Н-нет, — чуть слышно прошептала Соня.

— Погляди-ка хорошенько.

И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же *детскою* улыбкой.

— Угадала? — прошептал он наконец.

— Господи! — вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; все было *так*! Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно и

чудно: почему именно она так *сразу* увидела тогда, что нет уже никаких сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что действительно она как будто *это* самое и предчувствовала.

— Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! — страдальчески попросил он. Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло *так*.

Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.

— Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее:

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягло ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.

— Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.

— Нет, нет; никогда и нигде! — вскрикнула Соня, — за тобой пойду, всюду пойду! О Господи!.. Ох я несчастная!.. И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил? О Господи!

— Вот и пришел.

— Теперь-то! О, что теперь делать!.. Вместе, вместе! — повторяла она как бы в забытьи и вновь обнимала его, — в каторгу с тобой вместе пойду! — Его как бы вдруг передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его.

— Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, — сказал он.

Соня быстро на него посмотрела.

После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее.

В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве это возможно?»

— Да что это! Да где это я стою! — проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя, — да как вы, вы, *такой*... могли на это решиться?.. Да что это!

— Ну да, чтоб ограбить. Перестань, Соня! — как-то устало и даже как бы с досадой ответил он.

Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:

— Ты был голоден! ты... чтобы матери помочь? Да?

— Нет, Соня, нет, — бормотал он, отвернувшись и свесив голову, — не был я так голоден... я действительно хотел помочь матери, но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня!

Соня всплеснула руками.

— Да неужель, неужель это все взаправду! Господи, да какая ж это правда! Кто же этому может верить?.. И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить! А!.. — вскрикнула она вдруг, — те деньги, что Катерине Ивановне отдали... те деньги... Господи, да неужели ж и те деньги...

— Нет, Соня, — торопливо прервал он, — эти деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне мать прислала, через одного купца, и получил я их больной, в тот же день как и отдал... Разумихин видел... он же и получал за меня... эти деньги мои, мои собственные, настоящие мои.

Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить.

— А *те* деньги... я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, — прибавил он тихо и как бы в раздумье, — я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый... полный, тугой такой кошелек... да я не посмотрел в него; не успел, должно быть... Ну, а вещи, какие-то все запонки да цепочки, — я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе, на В — м проспекте под камень схоронил, на другое же утро... Все там и теперь лежит...

Соня из всех сил слушала.

— Ну, так зачем же... как же вы сказали: чтоб ограбить, а сами ничего не взяли? — быстро спросила она, хватаясь за соломинку.

— Не знаю... я еще не решил — возьму или не возьму эти деньги, — промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг,

опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. — Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?

У Сони промелькнула было мысль: «Не сумасшедший ли?» Но тотчас же она ее оставила: нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала!

— Знаешь, Соня, — сказал он вдруг с каким-то вдохновением, — знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, — продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, — то я бы теперь... *счастлив* был! Знай ты это!

— И что тебе, что тебе в том, — вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием, — ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!

Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала.

— Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.

— Куда звал? — робко спросила Соня.

— Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этим, — усмехнулся он едко, — мы люди разные... И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: *куда* тебя звал вчера? А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?

Она стиснула ему руку.

— И зачем, зачем я ей сказал, зачем я ей открыл! — в отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее, — вот ты ждешь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только исстрадаешься вся... из-за меня! Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь, — ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!» И можешь ты любить такого подлеца?

— Да разве ты тоже не мучаешься? — вскричала Соня.

Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягло ее.

— Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и... подлец! Но... пусть! все это не то... Говорить теперь надо, а я начать не умею...

Он остановился и задумался.

— Э-эх, люди мы разные! — вскричал он опять, — не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!

— Нет, нет, это хорошо, что пришел! — восклицала Соня, — это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше!

Он с болью посмотрел на нее.

— А что и в самом деле! — сказал он, как бы надумавшись, — ведь это ж так и было! Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Ну, понятно теперь?

— Н-нет, — наивно и робко прошептала Соня, — только... говори, говори! Я пойму, я *про себя* все пойму! — упрасивала она его.

— Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим!

Он замолчал и долго обдумывал.

— Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что, если бы, например на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоровился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально, и... и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я, наконец, догадался (вдруг как-то), что не только его не покоровило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости!.. Ну и я... вышел из задумчивости... задушил... по примеру авторитета... И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было...

Соне вовсе не было смешно.

— Вы лучше говорите мне прямо... без примеров, — еще робче и чуть слышно попросила она.

Он повернулся к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.

— Ты опять права, Соня. Это все ведь вздор, почти одна болтовня! Видишь: ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на

время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячько рублями жалованья... (Он говорил как будто заученное.) А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенести? Для чего? Для того ль, чтоб, их схоронив, новых нажить — жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну... ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, — и сделать все это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать... Ну... ну, вот и все... Ну, разумеется, что я убил старуху, — это я худо сделал... ну и довольно!

В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой.

— Ох, это не то, не то, — в тоске восклицала Соня, — и разве можно так... нет, это не так, не так!

— Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!

— Да какая ж это правда! О Господи!

— Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.

— Это человек-то вошь!

— Да ведь и я знаю, что не вошь, — ответил он, странно смотря на нее. — А впрочем, я вру, Соня, — прибавил он, — давно уже вру... Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня... Голова у меня теперь очень болит.

Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но... «но как же! Как же! О Господи!» И она ломала руки в отчаянии.

— Нет, Соня, это не то! — начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь

возбудил его, — это не то! А лучше... предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самодлюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. (Уж пусть все зараз! Про сумасшествие-то говорили прежде, я заметил!) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно *озлился* (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья — поем, не принесет — так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал; а на столе у меня, на записках, да на тетрадах, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал... И все такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить какие! Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что... Нет, это не так! Я опять не так рассказываю! Видишь, я тогда все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон... Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!

Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. (Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил!) Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом.

— Я догадался тогда, Соня, — продолжал он восторженно, — что власть дается только тому, кто посмеет наклонить-

ся и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел *осмелиться*, и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!

— О, молчите, молчите! — вскрикнула Соня, всплеснув руками. — От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..

— Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?

— Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О Господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!

— Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи! — повторил он мрачно и настойчиво. — Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте... Все это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и все знаю, все! И так надоела, так надоела мне тогда вся эта болтовня! Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? — то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек *для меня*, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон, или нет? так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем, или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное,

нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Я это все теперь знаю... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять, или нет? Тварь ли я дрожащая, или *право* имею...

— Убивать? Убивать-то право имеете? — всплеснула руками Соня.

— Э-эх, Соня! — вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. — Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай: когда я тогда к старухе ходил, я только *попробовать* сходил... Так и знай!

— И убили! Убили!

— Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я... Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, — вскричал он вдруг в судорожной тоске, — оставь меня!

Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.

— Экое страдание! — вырвался мучительный вопль у Сони.

— Ну, что теперь делать, говори! — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.

— Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки,

крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огненным взглядом.

Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.

— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.

— Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.

— Нет! Не пойду я к ним, Соня.

— А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? — восклицала Соня. — Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О Господи! — вскрикнула она, — ведь он уже это все знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!

— Не будь ребенком, Соня, — тихо проговорил он. — В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один только призрак... Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? — прибавил он с едкою усмешкой. — Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут, они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня...

— Замучаешься, замучаешься, — повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.

— Я, может, на себя *еще* наклепал, — мрачно заметил он, как бы в задумчивости, — может, я *еще* человек, а не вошь и поторопился себя осудить... Я *еще* поборюсь.

Надменная усмешка выдавливалась на губах его.

— Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..

— Привыкну... — проговорил он угрюмо и вдумчиво. — Слушай, — начал он через минуту, — полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят...

— Ах! — вскрикнула Соня испуганно.

— Ну, что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб; сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить,

понимаешь? и обману; потому я теперь научился... Но в острог меня посадят наверно. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили, наверно даже, может *еще* и посадят сегодня... Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустят... потому нет у них ни одного настоящего доказательства, и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно... Я только чтобы ты знала... С сестрой и с матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтоб их разуверить и не испугать... Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена... стало быть, и мать... Ну, вот и все. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?

— О, буду! Буду!

Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и осознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.

— Соня, — сказал он, — уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.

Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.

— Есть на тебе крест? — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.

Он сначала не понял вопроса.

— Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... ведь мой! Ведь мой! — упрашивала она. — Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..

— Дай! — сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.

— Не теперь, Соня. Лучше потом, — прибавил он, чтоб ее успокоить.

— Да, да, лучше, лучше, — подхватила она с увлечением, — как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.

В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.

— Софья Семеновна, можно к вам? — послышался чей-то очень знакомый вежливый голос.

Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.

❧ Задания ❧

❧ С какой целью Раскольников приходит к Соне во второй раз? После каких событий это происходит? Что изменилось в его настроении и намерениях?

❧ Какую дилемму предложил Раскольников решить Соне? Почему он признается Соне в убийстве?

❧ Какую причину называет Раскольников среди главных, толкнувших его на убийство?

ЭПИЛОГ

II

Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его: о! что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе: измучившись на работе физически, он по крайней мере добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища — эти пустые щи с тараканами? Студентом, во время прежней жизни, он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но пред кем? Пред Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?

А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаху*, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред «бессмыслицей» какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя.

Тревога беспредметная и беспечельная в настоящем, а в будущем одна непрерывная жертва, которою ничего не приобреталось, — вот что предстояло ему на свете. И что в том, что чрез восемь лет ему будет только тридцать два года и можно

снова начать еще жить! Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении.

По крайней мере он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в остроге, *на свободе*, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.

«Чем, чем, — думал он, — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так... странною. О отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!

Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово «злодеяние»? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынес, и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».

Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.

Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?

Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь.

Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостью и ничтожностью). Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся: как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею! Именно, ему показалось, что в остроге ее еще более любят и ценят и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например бродяги! Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? Всматриваясь дальше, он видел примеры, еще более необъяснимые.

В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза: ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он, как-то поневоле, стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и холопов и презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ, — один бывший офицер и два семинариста; Раскольников ясно замечал и их ошибку.

Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть — почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее.

— Ты барин! — говорили ему. — Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело.

На второй неделе великого поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, — произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.

— Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо.

Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном иступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей — не то пролилась бы кровь.

Неразрешим был для него еще один вопрос: почему все они так полюбили Соню? Она у них не заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она *за ним* последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только, на Рождестве, принесла она на весь острог подавание: пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли, по указанию их, в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, — все снимали шапки, все кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» — говорили эти грубые клейменные каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться.

Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все долж-

ны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат; созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасть во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса.

Раскольников мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез. Шла уже вторая неделя после Святой; стояли теплые, ясные, весенние дни; в арестантской палате отворили окна (решетчатые, под которыми ходил часовой). Соня, во все время болезни его, могла только два раза его навестить в палате; каждый раз надо было испрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор, под

окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды, под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул; проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдали, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце; он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже; он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец, его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит.

Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомила его, что ей гораздо легче, что у ней пустая, легкая простуда и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу, на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебаstra и где толкли его. Отправилось туда всего три работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом; другой стал изготавливать дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем непохожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?

Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце; вспомнил ее бледное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания: он знал, какую бесконечною любовью искупит он теперь все ее страдания.

Да и что такое эти все, *все* муки прошлого! Всё, даже преступление его, даже приговор и ссылка казались ему теперь, в первом порыве, каким-то внешним, странным, как бы даже и

не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое.

Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о Воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления по крайней мере...»

Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, *только* семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен.

❧ Задания ❧

- ❧ Какие переживания мучали Раскольникова на каторге?
- ❧ Какой сон произвел на него сильное впечатление и почему?

Михаил Евграфович
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
(1826—1889)

«История одного города» — необычное произведение: необычен его жанр, порой фантастичны герои, о которых повествует писатель.

Начиная с названия и до заключительных слов произведения насыщено разного рода фактами и элементами из русской истории.

Действительно, каждый осведомленный в русской истории читатель легко обнаружит, например, в образах градоначальников Негодяева, Грустилова, Перехват-Залихватского, Беневоленского, Угрюм-Бурчеева характерные черты Павла I, Александра I, Николая I, законодательной деятельности Сперанского, военно-административной — Аракчеева.

При этом, сатирически изображая минувшую жизнь в России, писатель видел свою главную задачу не в том, чтобы обличить это прошлое. При помощи исторического материала он стремился показать прошлое в настоящем и настоящее как «законсервированное» прошлое.

«История одного города» во многом напоминает роман-обозрение, хотя в ней нет сквозного действующего лица или обозревателя. Сюжет разворачивается не в пространстве, а во времени (в роли обозревателей выступают глуповские летописцы и издатель. Сквозными же в книге являются образы города Глупова и населяющих его глуповцев).

Время и хронология в «Истории одного города» условны, хотя, казалось бы, почти в каждой главе указываются даты описываемых событий. Времена здесь ведут себя странно: они пересекаются и даже совмещаются с первых же ее страниц.

Город Глупов — это особый, гротесковый мир, в котором жизнь развивается по своим специфическим законам.

Если в любом сатирическом произведении реальная жизнь предстает как бы увиденной сквозь увеличительное стекло, в комически заостренном, преувеличенном виде, то в произведении гротесковом она, кроме того, проходит через целую систему «кривых зеркал», деформирующих ее настолько, что перед читателем возникают события явно странные, фантастические.

Цепь такого рода событий и составляет *историю города Глупова*.

Предвидя недоуменные вопросы, которые может вызвать та или иная страница этой истории, писатель разъяснял: «История города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, при внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

(ФРАГМЕНТЫ)

По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин)

ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ,

*в разное время в город Глупов от высшего начальства
поставленным*

(1731—1826)

1) Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже усиленно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.

2) Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир¹. Бывый брадобрей одного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.

3) Великанов, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, был уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в чердынский острог.

¹ *Бригадир* — воинское звание. В гражданской службе соответствовало статскому советнику.

4) Урус-Кугуш-Кильдибаев, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев. Отличался безумной отвагой и даже брал однажды приступом город Глухов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием.

5) Ламврокакис, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) Баклан, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.

7) Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.

8) Брудастый, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.

9) Двоекуров, Семен Константиныч, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глухове академии. Написал сочинение: «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант¹. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна, и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью.

10) Маркиз де Санглот, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота². Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в

¹ Аманта — любовница.

² Дени Дидро (1713—1784) — французский просветитель XVIII в., писатель и философ.

городском саду, и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиг, и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера¹ на минеральных водах*.

11) Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.

12) Бородавкин, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом². Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) Негодяев, Онуфрий Иванович, бывший гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строговым (знаменитый в свое время триумвират³) насчет конституций, в чем его и оправдали последствия.

14) Микаладзе, князь Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.

¹ Имеется в виду ресторан Излера «Минеральные воды» в увеселительном саду Петербурга 60-х годов.

* Здесь и далее знаком «*» отмечены примечания издателя «Глуповского Летописца».

² Съезжий дом — т. е. полицейский участок.

³ Так называемый «триумвират» или «молодые друзья» Александра I в первые годы его царствования, когда он делал вид, что заигрывает с либерализмом.

15) Вeneволенский, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского¹ по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой, по субботам, едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского². Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году, за потворство Бонапарту, был призван к ответу и сослан в заточение.

16) Прыщ, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) Иванов, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.

18) Дю Шарьо, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении, оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.

20) Грустилов, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.

21) Угрюм-Бурчеев, бывшй прохвост³. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

22) Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глухов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

¹ М. М. Сперанский (1772—1839) — известный государственный деятель при Александре I, автор «Плана государственного преобразования». Под давлением реакционных кругов впал в немилость и был сослан в 1812 г.

² Фома Кемпийский (1380—1471) — средневековый мистик, ему принадлежит ряд религиозных трактатов.

³ *Прохвост* — искаженное «профос» — тюремный смотритель, палач, а позднее уборщик нечистот в камерах. Автор употребляет здесь это слово именно в его первоначальном значении, а не в том, какое стало впоследствии общеупотребительным ругательством («негодяй», «подлец»).

ОРГАНЧИК*

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что, под наблюдением квартальных надзирателей¹, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.

Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.

* По «Краткой описи» значится под № 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью».

¹ *Квартальный надзиратель* — полицейский офицер, отвечающий за «порядок жизни» городского квартала.

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.

Несмотря на непреодолимую твердость, глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не делается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни «братцами», ни «ребятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые — таких не бывало, — а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.

Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.

— Что ж это такое! — фыркнул — и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй! — Так говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики — и все-то в мундирах! Вспомнили даже беглого грека Ламврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6) и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.

— Натиск, — сказал он, — и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с Божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!

И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:

— А по праздникам будем есть у вас пироги!

— Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! — вздыхали глуповцы, — а этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!

Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» — и вновь скрывался в кабинете. Нелыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники¹ позабыли, что значит путем поестъ, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит и выскребает всё новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит злое: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он этаким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» — наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.

— И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно! — беседовали между собой смущенные обыватели, — а то цыркает, да и на-поди!

¹ Будочник — низший полицейский чин, основной обязанностью которого, по образному выражению Г. И. Успенского, было «тащить» и «не пущать».

Глулов, беспечный, добродушно-веселый Глулов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустили, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожиллов, во времена тушинского царика¹, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, злоеший и безотчетный страх.

В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глулов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распушенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, злоеший свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом, и все что-то скребет пером... И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» — и опять садится за стол, и опять скребет...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глулов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глулове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.

И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органических дел мастер Байбаков.

¹ То есть при самозванце Лжедмитрии II, устроившем свою «царскую резиденцию» в подмосковном селе Тушино и делавшем оттуда набеги на близлежащие города и села.

Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей <...> не был разбужен криком «не потеряю!» <...>

Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали спойть его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчишки могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.

Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру* в нос бросится.

Среди всех этих толков и пересудов вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именнейших представителей глуповской интеллигенции, в такой-то день и час, прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.

То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробы чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились во дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидаемая минута настала.

Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по край-

* Новый пример прозорливости. Винтергальтера в 1762 году не было.

Известная часовая и органная мастерская Винтергальтера существовала в Петербурге с 1806 г.

ней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех обывателей и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот... И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П...п...плю!» — наконец вырвалось у него из уст... С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.

Читая в «Летописце» описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, непохожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальствуюбию, и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.

— И откуда к нам экой прохвост выискался! — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.

— Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! — присовокупляли другие.

И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.

И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда сего, и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом ее разгаре.

Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед

ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пила. Призвали на совет главного городского врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы исходящем из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не исследована*.

Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.

Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы

* Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве.

в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, была пустая посуда. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повинование их ожидает не кара, а похвала.

В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплах в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания, и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первом упоминании о Байбакове, всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника...

Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов¹ и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но

¹ Имеются в виду А. И. Герцен и Н. П. Огарев, издававшие в Лондоне «Колокол».

все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.

Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и, сверх того, пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:

«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым, Глуховский цеховой; у исповеди и Святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов¹, и есмь оной секты лжеиерей. Судился за сожитие вне брака с свободской женой Матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, — не помню, какого числа и месяца, — был разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помавающим². Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: “Не удивляйся, но попорченное исправь”. После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: “разорю!” и “не потерплю!”. Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем выпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии,

¹ *Фармазоны* — искаженное «франкмасоны» — члены тайного религиозно-философского общества, ставившие целью нравственное совершенствование людей.

² *Помавающий* — покачивающий.

что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только: п-плю! В сей крайности, вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органических дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестно. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответить сим честь имею: утвердить могу и действовать она будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил».

Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выждать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму* и, заперев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.

Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла, наконец, и давно ожидаемая петербургская почта; но никакой головы не привезла.

Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустили; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали; официальные дни¹

* Изумительно!!

Первая опытная телеграфная установка в России появилась лишь в 1836 г., т. е. более чем через семьдесят лет после истории с Брудастым.

¹ Официальные (или «табельные») дни — дни, официально праздновавшиеся в России.

исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.

В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно.

Проходит и еще день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накаплиются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера¹. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу же получил известие, что он, за нелепое донесение, уволен от службы*.

Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели — и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.

Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того чтоб держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплах, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

¹ Подразумевается к жандармскому «штабс-офицеру», представителю в губернии политической полиции, ее высшего органа — III Отделения.

* Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глумовских событиях.

Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторым — незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.

Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы — и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.

Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одет.

Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным¹ гражданином Пузановым, они выстроились в карé перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.

Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающею быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.

— Куда ты девал нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.

— Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! — уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.

Но волнение не унималось.

— Врешь, переметная сума! — отвечала толпа, — вы нарочно с квартальным стakнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!

И Бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем

¹ Излюбленный — здесь: выбранный на какую-либо общественную должность.

не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом... исчезнувший градоначальник!

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами.

— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей, толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глумовское смятение».

— Зачинщики, вперед! — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.

Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.

В то время как глумовцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопились недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обитателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который, за минуту перед этим, был привезен в телеге исправником! Глумовцы так и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась*.

<...>

<http://kurakam.ru>

* Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя «Летописец» и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-кампанца; на втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков, по приказанию помощника городничего, набивши ее, по ошибке, вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он был ужасен.

Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня».

Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый, как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.

Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном¹; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе, и даже считал

¹ Шпицрутены — длинные гибкие прутья для наказания прогоняемых «сквозь строй» осужденных.

его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот единственное слово, которым он выражал движения своей души.

Вовремя посторониться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальствлюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же — далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, — и трепетные губы их шептали: сатана!

Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий Угрюм-Бурчеева. «Была в то время, — так начинает он свое повествование, — в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертою вперед рукою и с мутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие: повелительный жест, — и затем, сосредоточившись само в себе, перешло

в окаменение. Но что весьма достойно примечания: как ни ужасны пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как ни удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа, и хотя далее следует перерыв и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром.

В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева¹. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осевшие несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опущенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухоощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченной вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкин «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, приняв-

¹ Сделав фамилию Угрюм-Бурчеева созвучной фамилии Аракчева, а его образ жизни похожим на образ жизни князя Святослава Игоревича (см. ниже), Салтыков вместе с тем наделил Угрюм-Бурчеева внешним, «портретным» сходством с императором Николаем I, что лишний раз свидетельствует о самом широком, обобщающем характере его сатиры.

шего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломают вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...

Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтобы они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрасил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого обществения?

Вот это-то отверженное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и

не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь, выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.

Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо¹ и свободно пережевывал воловьи жиры. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).

Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.

¹ Ср. с характеристикой князя Святослава Игоревича у Карамзина: «...суровою жизнью он укрепил себя для трудов воинских, не имел ни станов, ни обоза; питался кониною, мясом диких зверей и сам жарил его на углях; презирал хлад и ненастье северного климата; не знал шатра и спал под сводом неба; войлок подседельный служил ему вместо мягкого ложа, седло — изголовьем».

Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.

— Любим, вашество! — уверяли подчиненные.

— Все вы так на досуге говорите, — настаивал на своем начальник, — а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует.

Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич.

— Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он, — тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!

Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца связано с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник спрашивает, все ли довольны, и, опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-е-ство-о!»

— Кто хочет доказать? выходи! не бойся! — повторил свой клич ревнивый начальник.

Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.

— Сви...

Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост и велиим¹ голосом возопил:

— Я хочу доказать!

С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.

Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.

Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея...

При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.

— Ты меня возлюбил, — воскликнул он, — а я тебя возлюблю сторицею!

И послал его в Глухов.

¹ Велий — громкий, зычный.

В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах¹ вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивелляторы «хождения в струне», нивелляторы «бараньего рога», нивелляторы «ежовых рукавиц» и проч. и проч. Ног никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения с сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особого благополучия от сего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно, и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они — нивелляторы, а называли себя добрыми и благопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастья подчиненных и подвластных им лиц...

Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего.

Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни назад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради

¹ *Нивеллятор* — сторонник нивелирования, приведения к одному общему уровню.

того, что она в то же время есть и кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью, — а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, — все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, переворачивался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, все шли, все шли...

Еще задолго до прибытия в Глухов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии¹. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посередине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг

¹ *Муниципия* — покоренный город, жителям которого были предоставлены в полном или урезанном виде права римских граждан.

или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей¹, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, — размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весной, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предрежающих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица*, имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он

¹ *Околоточный надзиратель* — полицейский чиновник, ведающий делами в околотке (части или районе города).

особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода*. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город*, который из Глупова переименовывается в «вечно-достойный памяти великого князя Святослава Игоревича город *Непреклонск*». Над городом царит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облачаются в единообразные одежды (по особым, апробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — всё по команде. Землю пахут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз — первый! раз — другой! —

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!

Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся, и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закату всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...

Ни Бога, ни идолов — ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, — вот сущность этой кантонистской фантазии...

Тем не менее, когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

— Ка-за-р-мы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

— Казар-р-мы! — в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

❧ Задания ❧

~ В чем однообразие различных фигур градоначальников, представленных в описи?

~ Как сочетается в изображении образа Брудастого фантастическое и реальное?

~ Чем отличается Угрюм-Бурчеев от других градоначальников, изображенных в книге?

~ Слово «нивеллятор» стоит в заключительной главе в одном ряду с такими понятиями, как коммунисты, социалисты. Как вы поняли: что означает у Салтыкова-Щедрина это слово? Почему Угрюм-Бурчеев назван самым фантастическим нивеллятором?

Лев Николаевич
ТОЛСТОЙ
(1828—1910)

Жанр «Войны и мира», как отметил сам Толстой, не поддается никаким традиционным определениям. Отличительная его черта — жизни героев в произведении сплетены с изображением исторических событий, которые играют решающую роль в судьбах. Так, Бородинское сражение — не только кульминация в изображении исторических событий в романе, но и кульминация в личных судьбах главных героев. Повествование о героях эпопеи (а их свыше 500) таково, что у читателя действительно возникает представление об истории общества тех лет, а не просто о сумме судеб отдельных героев.

Центральной в романе «Война и мир» является эпическая тема — жизнь России на протяжении целой эпохи (начинается военными событиями 1805 года и завершается героическими событиями войны 1812 года). Большая часть первого тома посвящена двум сражениям войны 1805 года: Шенграбенскому и Аустерлицкому, война является, таким образом, центральной темой. Во втором томе изображена мирная жизнь России между войнами с Наполеоном. Центральной темой третьего тома становится Бородинское сражение в войне 1812 года, а четвертого — изгнание наполеоновских войск из России. Вокруг этих исторических событий сосредоточиваются сюжетные линии главных героев.

В романе-эпопее два истинно «толстовских» героя — князь Андрей Болконский и Пьер Безухов. Изображая сразу двух близких ему по духу героев, Толстой стремился глубже раскрыть сущность духовных исканий человека, роль общения в жизни людей. Писатель постоянно соотносит кризисные точки духовных биографий князя Андрея и Пьера Безухова.

Общая идея романа — прославление жизни в ее природном течении и в ее естественных проявлениях в поведении человека, несмотря на все изображенные в романе ужасы войны, а также пороки и изъязнения людей. Смысл жизни человека, считал писатель, в ней самой, в счастье жить, в стремлении выполнять свое высокое назначение: следовать добру и правде.

ВОЙНА И МИР

(ФРАГМЕНТЫ)

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

— Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous prévienс, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites¹. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur², садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был *грипп*, как она говорила (*грипп* был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

«Si vous n'avez rien de mieux à faire, M. le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer»³.

— Dieu, quelle virulente sortie!⁴ — отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном ши-

¹ Ну, князь, Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите. (Здесь и далее переводы, за исключением оговоренных случаев, принадлежат Л. Н. Толстому.)

² Я вижу, что я вас пугаю.

³ «Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. Анна Шерер».

⁴ Господи, какое горячее нападение!

том мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.

— Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie?¹ Успокойте меня, — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

— Как можно быть здоровой... когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь?

— А праздник английского посланника? Нынче среда. Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня.

— Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides².

— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, — сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

— Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout³.

— Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres⁴.

Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.

¹ Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?

² Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

³ Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцова? Вы всё знаете.

⁴ Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.

— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцову?.. Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и всё хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. *Cette fameuse neutralité prussienne, se n'est qu'un piège*¹. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. — Она вдруг остановилась с улыбкою насмешки над своею горячностью.

— Я думаю, — сказал князь улыбаясь, — что ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

— Сейчас. *A propos*, — прибавила она, опять успокоиваясь, — нынче у меня два очень интересные человека, *le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les*

¹ Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня.

Rohans¹, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом l'abbé Morio²: вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?

— А! Я очень рад буду, — сказал князь. — Скажите, — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главною целью его посещения, — правда, что l'impératrice-mère³ желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il paraît⁴. — Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur⁵, — только сказала она грустным, сухим тоном. В то время, как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime⁶, и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкнуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

— Mais à propos de votre famille⁷, — сказала она, — знаете ли, что ваша дочь с тех пор, как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour⁸.

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

¹ Кстати, — виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси чрез Роганов.

² аббат Морио.

³ вдовствующая императрица.

⁴ Барон этот ничтожное существо, как кажется.

⁵ Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою.

⁶ много уважения.

⁷ Кстати о вашем семействе.

⁸ составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день.

— Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, подвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается душевный: — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам судьба дала таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови) — таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стóите.

И она улыбнулась своею восторженною улыбкой.

— *Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité*¹, — сказал князь.

— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

— Что ж мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания всё, что может отец, и оба вышли *des imbéciles*². Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатолий — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.

— И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

— *Je suis votre*³ *верный раб, et à vous seule je puis l'avouer.* Мои дети — *ce sont les entraves de mon existence*⁴. Это мой крест. Я так себе объясняю. *Que voulez-vous?*⁵ — Он молчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.

Анна Павловна задумалась.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля. Говорят, — сказала она, — что ста-

¹ Что делать? Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви.

² дурни.

³ Я ваш.

⁴ и вам одним могу признаться. Мои дети — обуза моего существования.

⁵ Что делать?..

рые девицы ont la manie des mariages¹. Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна petite personne², которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse³ Болконская. — Князь Василий не отвечал, хотя с свойственною светским людям быстротой соображения и памяти показал движением головы, что он принял к соображению эти сведения.

— Нет, вы знаете ли, что этот Анатолий мне стоит сорок тысяч в год, — сказал он, видимо не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.

— Что будет через пять лет, если это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père⁴. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный «прусским королем». Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres⁵. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.

— Ecoutez, chère Annette⁶, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Arrangez-moi cette affaire et je suis votre⁷ вернейший раб à tout jamais (pan, comme mon староста m'écrit des⁸ донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Всё, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

— Attendez⁹, — сказала Анна Павловна, соображая. — Я нынче же поговорю Lise (la femme du jeune Болконский)¹⁰. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille, que je ferai mon apprentissage de vieille fille¹¹.

¹ имеют манию женить.

² девушка.

³ наша родственница, княжна.

⁴ Вот выгода быть отцом.

⁵ Бедняжка несчастлива, как камни.

⁶ Послушайте, милая Анет.

⁷ Устройте мне это дело, и я навсегда ваш.

⁸ как мой староста мне пишет.

⁹ Постойте.

¹⁰ Лизе (жене Болконского).

¹¹ Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы.

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, захватившая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как *la femme la plus séduisante de Pétersbourg*¹, молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Морио и многие другие.

— Вы не видали еще, — или: — вы не знакомы с *ma tante*²? — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на *ma tante*³, и потом отходила.

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не нужной тетюшки. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. *Ma tante* каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не подойти к ней.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту, полную здоровья и живости, хорошенькую будущую мать, так легко пере-

¹ самая обворожительная женщина в Петербурге.

² моей тетюшкой.

³ мою тетюшку.

носившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.

Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочей сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто всё, что она ни делала, было *partie de plaisir*¹ для нее и для всех ее окружавших.

— *J'ai apporté mon ouvrage*², — сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, *Annette*, ne me jouez pas un mauvais tour, — обратилась она к хозяйке. — *Vous m'avez écrit, que c'était une toute petite soirée; voyez, comme je suis attifée*³.

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой.

— *Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie*⁴, — отвечала Анна Павловна.

— *Vous savez, mon mari m'abandonne*, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу, — *il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre*⁵, — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен.

— *Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse*⁶ — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был в

¹ увеселением.

² Я захватила работу.

³ не сыграйте со мной злой шутки; вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана.

⁴ Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех.

⁵ Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война.

⁶ Что за милая особа, эта маленькая княгиня!

первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера, в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя, действительно, Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

— C'est bien aimable à vous, *monsieur Pierre*, d'être venu voir une pauvre malade¹, — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами:

— Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... — сказала она.

— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно...

— Вы думаете?.. — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна улыбаясь.

И, отделившись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет,

¹ Очень мило с вашей стороны, *мосье Пьер*, что вы приехали навестить бедную больную.

сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот всё виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он увидел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он всё боялся пропустить умные разговоры, которые он может услышать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он всё ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец, он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.

III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме *ma tante*, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, — красавица-княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем — Мортемар и Анна Павловна.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек, очевидно считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно утонченное. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убийении герцога Энгийенского. Виконт сказал, что герцог Энгийенский погиб от своего великодушия, и что были особенные причины озлобления Бонапарта.

— Ah! voyons. Conte¹-nous cela, vicomte¹, — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV² отзывалась эта фраза, — conte¹-nous cela, vicomte.

Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— Le vicomte a été personnellement connu de monseigneur³, — шепнула Анна Павловна одному. — Le vicomte est un parfait conteur⁴, — проговорила она другому. — Comme on voit l'homme de la bonne compagnie⁵, — сказала она третьему; и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

— Переходите сюда, chère Hélène⁶, — сказала Анна Павловна красавице-княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющейся улыбкой вполне красивой женщины, с которой она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальной робой, убранною плющем и мохом, и блестя белизной плеч, глянец волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотой своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить действие своей красоты.

— Quelle belle personne!⁷ — говорил каждый, кто ее видел. Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза в то время, как она усаживалась перед ним и освещала и его всё той же неизменною улыбкой.

¹ Ах, да! Расскажите нам это, виконт.

² напоминающим Людовика XV.

³ Виконт был лично знаком с герцогом.

⁴ Виконт удивительный мастер рассказывать.

⁵ Как сейчас виден человек хорошего общества.

⁶ милая Элен.

⁷ Что за красавица!

— Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire¹, — сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она улыбаясь ждала. Во всё время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, легко лежавшую на столе, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокоивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайного стола.

— Attendez moi, je vais prendre mon ouvrage², — проговорила она. — Voyons, à quoi pensez-vous? — обратилась она к князю Ипполиту: — apportez-moi mon ridicule³.

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку и, усевшись, весело оправилась.

— Теперь мне хорошо, — приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу.

Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Le charmant Hippolyte⁴ поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицею и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той всё освещалось жизнерадостною, самодовольною, молодою, неизменною улыбкой и необычайною, античною красотою тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — всё сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественное положение.

— Ce n'est pas une histoire de revenants?⁵ — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

¹ Я, право, опасаясь за свое уменье перед такою публикой.

² Подождите, я возьму мою работу.

³ Что ж вы? О чем вы думаете? — принесите мой ридикюль.

⁴ Милый Ипполит.

⁵ Это не история о привидениях?

— Mais non, mon cher¹, — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

— C'est que je déteste les histoires de revenants², — сказал князь Ипполит таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которой он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темнозеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de pumpe effrayée³, как он сам говорил, в чулках и башмаках.

Vicomte⁴ рассказал очень мило о том ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгийенский тайно ездил в Париж для свидания с m-lle George⁵, и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которой герцог не воспользовался, но что Бонапарте впоследствии за это-то великодушие и отомстил смертью герцогу.

Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении.

— Charmant⁶, — сказала Анна Павловна, оглядываясь вопросительно на маленькую княгиню.

— Charmant, — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать; но в это время Анна Павловна, всё поглядывавшая на страшного для нее молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии, и аббат, видимо заинтересованный простодушной горячностью молодого человека, развивал перед ним свою любимую идею. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне.

¹ Вовсе нет.

² Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях.

³ тела испуганной нимфы.

⁴ Виконт.

⁵ актрисой Жорж.

⁶ Прелестно.

— Средство — европейское равновесие и *droit des gens*¹, — говорил аббат. — Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, — и оно спасет мир!

— Как же вы найдете такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно притворное, сладкое выражение, которое, видимо, было привычно ему в разговоре с женщинами.

— Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которое я имел счастье быть принят, что не успел еще подумать о климате, — сказал он.

Не выпуская уже аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку.

В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Всё в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц, лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел всё общество.

— *Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince?*² — сказала Анна Павловна.

— *Le général Koutouzoff*, — сказал Болконский, ударяя на последнем слог *zoff*, как француз, — *a bien voulu de moi pour aide-de-camp...*³

— *Et Lise, votre femme?*⁴

— Она поедет в деревню.

— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

¹ народное право.

² Вы собираетесь на войну, князь?

³ Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты...

⁴ А Лиза, ваша жена?

— André¹, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, — какую историю нам рассказал виконт о m-lle Жорж и Бонапарте!

Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, морщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно доброю и приятною улыбкой.

— Вот как!.. И ты в большом свете! — сказал он Пьеру.

— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. — Можно?

— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и мужчины встали, чтобы дать им дорогу.

— Вы меня извините, мой милый виконт, — сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтоб он не вставал. — Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, — сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, возмущенными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо него.

— Очень хороша, — сказал князь Андрей.

— Очень, — сказал Пьер.

Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.

— Образуйте мне этого медведя, — сказал он. — Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.

XVII

Раздвинули бостонные столы, составились партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.

¹ Андрей.

Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились, как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.

— Чтó будем петь? — спросила она.

— «Ключ», — отвечал Николай.

— Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, — сказала Наташа. — А где же Соня?

Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.

Вбежав в Сонину комнату и не найдя там своей подруги, Наташа пробежала в детскую — и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.

— Соня! чтó ты?.. Чтó, чтó с тобой? У-у-у!..

И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

— Николинька едет через неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы всё не плакала (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем) ... я бы всё не плакала, но ты не можешь... никто не может понять... какая у него душа.

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.

— Тебе хорошо... я не завидую... я тебя люблю, и Бориса тоже, — говорила она, собравшись немного с силами, — он милый... для вас нет препятствий. А Николай мне cousin...

надобно... сам митрополит... и то нельзя. И потом, ежели маменьке (Соня графиню и считала и называла матерью)... она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право... вот ей-богу (она перекрестилась)... я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна... За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем...

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокаиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

— Соня! — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины, — верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

— Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день... Наташа! За что?..

И опять она заплакала горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокаивать.

— Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николинькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили, как будет. Я уже не помню как, но, помнишь, как было всё хорошо и всё можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему всё сказала. А он такой умный и такой хороший, — говорила Наташа... — Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. — И она целовала ее, смеясь. — Вера злая, Бог с ней! А всё будет хорошо и маменьке она не скажет; Николинька сам скажет, и он и не думал об Жюли.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котенок оживился, глазки заблестали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

— Ты думаешь? Право? Ей-богу? — сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

— Право, ей-богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.

И они обе засмеялись.

— Ну, пойдем петь «Ключ».

— Пойдем.

— А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! — сказала вдруг Наташа, останавливаясь. — Мне очень весело!

И Наташа побежала по коридору.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню:

В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной,
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день — два, и рай настанет...
Но ах! твой друг не доживет!

И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам, а на хорах застучали ногами и за-кашляли музыканты.

Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала:

— Мама велела вас просить танцевать.

— Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер, — но ежели вы хотите быть моим учителем...

И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.

Пока расстановливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своею маленькою дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцевала с *большим*, с приехавшим *из-за границы*. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала поддержать одна

барышня. И, приняв самую светскую позу (бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.

— Какова, какова? Смотрите, смотрите, — сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.

Наташа покраснела и засмеялась.

— Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом — оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки-хитрою улыбкой, и как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

— Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура *англеза*.)

— Смотрите на папá, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшею выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускаяшеюся улыбкой на своем круглом лице приготавливал зрителей к тому, что будет. Как только слышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло

прямо, с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываниях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьей Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее п^а, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правой рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

— Вот как в наше время танцевали, *ma chère*¹, — сказал граф.

— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.

XXV

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка, подарок отца, привезенный из-под

¹ матушка.

Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея: всё было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.

В минуты отъезда и перемены жизни, на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, — может быть, и то и другое, только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, услышав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее, спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердись, что я пришла? Ты очень переменялся, Андрюша, — прибавила она как бы в объяснение такого вопроса.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Lise? — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. Ах, André! Quel trésor de femme vous avez¹, — сказала она, усаживаясь на диван против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, André! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете. И потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tout comprendre, c'est tout pardonner². Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

¹ Андрей! Какое сокровище твоя жена.

² Кто всё поймет, тот всё и простит.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.

— Я другое дело. Что обо мне говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, André, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна en ressources¹, для женщины, привыкшей к лучшему обществу. M-lle Bourienne одна...

— Она мне очень не нравится, ваша Bourienne, — сказал князь Андрей.

— О, нет! Она очень милая и добрая, а главное — жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна... Mon père² ее очень любит. Она и Михаил Иванович — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им; как говорит Стерн: «мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Mon père взял ее сиротой sur le pavé³, и она очень добрая. И mon père любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.

Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

— Мне?.. Мне?! Мне тяжело?! — сказала она.

— Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтоб озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.

— Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération⁴, может возбудить такой человек, как mon père? И я так довольна и

¹ не весела.

² Батюшка.

³ на улице.

⁴ обожания.

счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

— Одно, что тяжело для меня, — я тебе по правде скажу, André, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастье. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

— Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрчиваете свой порох, — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.

— Ah, mon ami¹. Я только молюсь Богу и надеюсь, что Он услышит меня. André, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба.

— Что, мой друг?

— Нет, обещаю тебе, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утетишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы и будто прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это *что-то*.

Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.

— Ежели бы это и стоило мне большого труда... — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

— Ты, что хочешь, думай! Я знаю, ты такой же, как и mon père. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах... — Она всё еще не доставала того, что держала, из ридикюля. — Так ты обещаешь мне?

— Конечно, в чем дело?

— André, я тебя благословлю образом, и ты обещаю мне, что никогда его не будешь снимать... Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет... Чтобы тебе сделать удовольствие... — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, право очень рад, мой друг, — прибавил он.

¹ Ах, мой друг.

— Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к Себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы.

Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

— Пожалуйста, André, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали всё болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) и насмешливо.

— Merci, mon ami¹.

Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали.

— Так я тебе говорила, André, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Lise, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж *говорили*. И мне это грустно.

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла говорить. Брат угадал: маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну *мою жену*, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и

¹ Благодарю тебя, мой друг.

добрым, непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

— Пойдем к ней, надо проститься. Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру, — поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась.

— André, si vous avez la foi, vous vous seriez adressé à Dieu, pour qu'il vous donne l'amour, que vous ne sentez pas et votre prière aurait été exaucée...¹

— Да, — разве это! — сказал князь Андрей. — Иди, Мама, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбающуюся m-lle Bourienne, уже в третий раз в этот день с восторженной и наивно улыбкой попадавшую ему в уединенных переходах.

— Ah! je vous croyais chez vous², — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза.

Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав. Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

— Non, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents, comme si elle voulait défier les années...³ Ха, ха, ха, Marie!

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенная, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

¹ Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтоб он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана.

² Ах, я думала, вы у себя.

³ Нет, представьте себе, старая графиня Зубова, с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами...

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел дышла коляски. На крыльце сутились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, m-lle Bourienne, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

— Едешь? — И он опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда, — он показал щеку, — спасибо, спасибо!

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. — Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, — прибавил он.

— О жене... Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю...

— Что врешь? Говори, что нужно.

— Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером... Чтoб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, — говорил князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласен, что и из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится.

— Гм... гм... — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. — Сделаю.

Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.

— Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю, — сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок, — сказал князь, — они все такие, не разженишься. Ты не бойся; никому не скажу; а ты сам знаешь.

<http://kurokam.ru>

Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма, с своею привычною быстротой, схватывал и бросал сургуч, печатать и бумагу.

— Чтó делать? Красива! Я всё сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал: ему и приятно и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

— Слушай, — сказал он, — о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Иларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.

Он говорил такую скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.

— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо: это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно.

— Всё исполню, батюшка, — сказал он.

— Ну, теперь прощай! — Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. — Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне старику больно будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно! — взвизгнул он.

— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал сын.

Старик замолчал.

— Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей, — ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не

отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас... пожалуйста.

— Жене не отдавать? — сказал старик и засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простились... ступай! — вдруг сказал он. — Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

— Чтó такое, чтó? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил.

— Ну, — сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодною насмешкой, как будто он говорил: «теперь продельвайте вы ваши штуки».

— *André, déjà?*¹ — сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя на мужа.

Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

— *Adieu, Marie*², — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

Княгиня лежала в кресле, m-lle Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, всё еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась и выглянула строгая фигура старика в белом халате.

— Уехал? Ну и хорошо, — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.

❧ Задания ❧

❧ Прочитайте диалог А. П. Шерер и князя Василия без авторских ремарок. Как изменилось его содержание? Найдите сравнение салона А. П. Шерер с прядильной мастерской.

¹ Андрей, что, уже?

² Прощай, Маша.

- ☞ Какими словами вы бы определили общение хозяйки и ее гостей?
- ☞ Чем выделялись среди гостей салона Пьер и Андрей Болконский?
- ☞ Что напугало хозяйку салона при виде Пьера (главы I—III)?
- ☞ Какова атмосфера и взаимоотношения людей у Ростовых и в Лысых Горах у Болконских (главы XVII, XXV)?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XX

Пехотные полки, застигнутые врасплох в лесу, выбежали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, уходили беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово: «отрезали!», и слово вместе с чувством страха сообщилось всей массе.

— Обошли! Отрезали! Пропали! — кричали голоса бегущих.

Полковой командир, в ту самую минуту как он услышал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком, и мысль, что он, примерный, много лет служивший, ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его, что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста-полковника и свою генеральскую важность, а главное — совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпора лошадь, поскакал к полку под градом обсыпавших, но счастливо миновавших его пуль. Он желал одного: узнать, в чем дело, и помочь и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, двадцать два года служившему, ни в чем не замеченному, примерному офицеру.

Счастливо проскакав между французами, он подскочил к полю за лесом, через который бежали наши и, не слушаясь команды, спускались под гору. Наступила та минута нравственного колебания, которая решает участь сражений: послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше. Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдат голоса полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя не похожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты всё бежали, разговаривали, стреляли в воздух

и не слушали команды. Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха.

Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился в отчаянии. Всё казалось потеряно, но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг без видимой причины побежали назад, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одною шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза и первый взял за воротник сдавшегося офицера. Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившие было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы остановились. Полковой командир стоял с майором Экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была синеватая, фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надета французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был бледен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отдаванием приказа майору Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата.

— Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку. — Мною взят в плен офицер. Я остановил роту. — Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками. — Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство!

— Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и обратился к майору Экономову.

Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его и показал запекшуюся в волосах кровь.

— Раня штыком, я остался во фронте. Попомните, ваше превосходительство.

Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион

послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло, по чьему-то приказанию, в середине дела; но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех, никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт и оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек.

Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.

— Вишь, засумятились! Горит! Вишь, дым-то! Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! — заговорила прислуга, оживляясь.

Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу: «Ловко! Вот так-тáк! Ишь, ты... Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни десять орудий и стал бить из них по Тушину.

Из-за детской радости, возбужденной пожаром, и азарта удачной стрельбы по французам наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменяло настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненные убраны, и четыре орудия повернуты против десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжение часа из сорока человек прислуги выбыли семнадцать, но артиллеристы всё так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по ним картечью.

Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика *еще трубочку за это*, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты.

В дыму, оглушаемый непрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская

своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменной и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его всё более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда, мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батареейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось всё веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он всё помнил, всё соображал, всё делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, — из-за вида вспотевшей, покрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымок неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад.

— Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он борется что-то.

— Ничего, гранату... — отвечал он.

«Ну-ка, наша Матвевна», — говорил он про себя. Матвев-ной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый номер второго орудия в его мире был *дядя*; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханию и разгоранию этих звуков.

«Ишь, задышала опять, задышала», — говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

— Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос:

— Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

— Чтó вы, с ума сошли? Вам два раза приказано отступать, а вы...

«Ну, за чтó они меня?..» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я... ничего... — проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. — Я...

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

— Отступать! Все отступать! — прокричал он издалека.

Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.

Это был князь Андрей. Первое, чтó он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», — подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал

с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.

— А то приезжало сейчас начальство, так скорее дрáло, — сказал фейерверкер князю Андрею, — не так, как ваше благо-родие.

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

— Ну, до свидания, — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

— До свидания, голубчик, — сказал Тушин, — милая душа! прощайте, голубчик, — сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.

XXI

Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый молодцеватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, был, с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

— Капитан, ради Бога, я контужен в руку, — сказал он робко. — Ради Бога, я не могу идти. Ради Бога!

Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где-нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом:

— Прикажите посадить, ради Бога.

— Посадите, посадите, — сказал Тушин. — Подложи шинель, ты, дядя, — обратился он к своему любимому солдату. — А где офицер раненый?

— Сложили, кончился, — ответил кто-то.

— Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

— Чтó, вы ранены, голубчик? — сказал Тушин, подходя к орудью, на котором сидел Ростов.

— Нет, контужен.

— Отчего же кровь-то на станине? — спросил Тушин.

— Это офицер, ваше благородие, окровавил, — отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу, с помощью пехоты, вывезли орудия в гору и, достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в дома деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

— Цел, Петров? — спрашивал один.

— Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, — говорил другой.

— Ничего не видать. Как они в своих-то зажарили! Не видать, темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудеющею пехотой, двинулись куда-то вперед.

В темноте как будто текла невидимая мрачная река, всё в одном направлении, гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из-за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска.

Их стоны и мрак этой ночи — это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая. Чтó сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? — слышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла всё его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо-красным, то на сутуловатую слабую фигуру Тушина, по-турецки сидевшего подле него. Большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, чтó происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

— Ничего, ваше благородие? — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю, где. Беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанною щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудие, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог.

— Как же, ты поднял! Ишь, ловок! — кричал один хриплым голосом.

<http://kurokam.ru>

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленной подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

— Что ж, умирать, что ли, как собаке? — говорил он.

Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

— Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, — говорил он, унося куда-то в темноту краснеющуюся головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

— Ишь, черти, на дороге дрова положили, — проворчал он.

— Кончился, что ж его носить? — сказал один из них.

— Ну, вас!

И они скрылись во мраке с своею ношей.

— Что? болит? — спросил Тушин шепотом у Ростова.

— Болит.

— Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, — сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

— Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра...

Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб-офицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами.

В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не достало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представ-

лявший под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя батальонами ударил в штыки и опрокинул французов.

— Как я увидел, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «пропущу этих и встречу батальным огнем»; так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что всё это точно было. Да, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

— Причем должен заметить, ваше сиятельство, — продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, — что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

— Здесь-то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, — беспокойно оглядываясь, вмешался Жерков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. — Смяли два каре, ваше сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку-полковнику.

— Благодарю всех, господа, все части действовали героически: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? — спросил он, ища кого-то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга; он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) — Я вас, кажется, просил, — обратился он к дежурному штаб-офицеру.

— Одно было подбито, — отвечал дежурный штаб-офицер, — а другое, я не могу понять; я сам там всё время был и распоряжался и только что отъехал... Жарко было, правда, — прибавил он скромно.

Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни и что за ним уже послано.

— Да вот вы были, — сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

— Как же, мы вместе немного не съехались, — сказал дежурный штаб-офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

— Я не имел удовольствия вас видеть, — холодно и отрывисто сказал князь Андрей.

Все помолчали. На пороге появился Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось.

— Каким образом орудие оставлено? — спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех слышался голос Жеркова.

Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил:

— Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство.

— Вы бы могли из прикрытия взять!

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была суцная правда. Он боялся *подвести* этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору.

Молчание было довольно продолжительно. Князь Багратион, видимо не желая быть строгим, не находил, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей исподлобья смотрел на Тушина, и пальцы его рук нервно двигались.

— Ваше сиятельство, — прервал князь Андрей молчание своим резким голосом, — вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными, и прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанно и взволнованно говорившего Болконского.

— И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, — продолжал он, — то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, — сказал князь Андрей и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо, не желая выказать недоверия к резкому суждению Болконского и вместе с тем чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может идти. Князь Андрей вышел за ним.

— Вот спасибо, выручил, голубчик, — сказал ему Тушин.

Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего не сказав, отошел от него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Всё это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся.

<...>

❧ Задание ❧

❧ Каким изображен Тушин в описании Шенграбенского сражения? В каких двух образах он предстает перед читателем (главы XX, XXI)?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XVI

Кутузов, сопровождаемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами.

Проехав с полверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома (вероятно, бывшего трактира) подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска.

Туман начинал расходиться, и неопределенно, верстах в двух расстояния, виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему.

— Посмотрите, посмотрите, — говорил этот адъютант, глядя не на дальнее войско, а вниз по горе перед собой. — Это французы!

Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг, неожиданно перед нами.

— Это неприятель?.. Нет!.. Да, смотрите, он... наверное... Что ж это? — слышались голоса.

Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу апшеронцам густую колонну французов, не дальше пятисот шагов от того места, где стоял Кутузов.

«Вот она, наступила решительная минута! Дошло до меня дело», — подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову.

— Надо остановить апшеронцев, — закричал он, — ваше высокопревосходительство!

Но в тот же миг всё застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу всё бросилось бежать.

Смешанные, всё увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от нее и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий с озлобленным видом, красный и на себя не похожий, кричал Кутузову, что ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него.

— Вы ранены? — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти.

— Рана не здесь, а вот где! — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих.

— Остановите их! — крикнул он и в то же время, вероятно убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо.

Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад.

Войска бежали такою густою толпою, что, раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел! что замешкался?» Кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух; кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидел на спуске горы, в дыму, еще стрелявшую русскую батарею и подбигающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только четыре человека. Все были бледны и молча переглядывались.

— Остановите этих мерзавцев! — задыхаясь проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих; но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова.

Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук; знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команд стали стрелять.

— Ооох! — с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. — Болконский, — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. — Болконский, — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля, — что ж это?

Но прежде чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

— Ребята, вперед! — крикнул он детски-пронзительно.

«Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронутся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в двадцати шагах от орудий. Он слышал над собою непрерывавший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его — на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к

себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо не понимавших того, что они делали.

«Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них: — зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его».

Действительно, другой француз, с ружьем наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, всё еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдержавшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба француз с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»

<http://kurokam.ru>

XIX

На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытие. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче?» — было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также, — подумал он. — Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услышал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять всё то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопровождаемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей стреляющих по плотине Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.

— *De beaux hommes!*¹ — сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закованную руку.

— *Les munitions des pièces de position sont épuisées, sire!*² — сказал в это время адъютант, приехавший с батареей, стрелявших по Аугесту.

— *Faites avancer celles de la réserve*³, — сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).

— *Voilà une belle mort*⁴, — сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли *sire*⁵ того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его

¹ Славный народ!

² Батарейных зарядов больше нет, ваше величество!

³ Велите привезти из резервов.

⁴ Вот прекрасная смерть.

⁵ ваше величество.

герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем; он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон.

— А! он жив, — сказал Наполеон. — Поднять этого молодого человека, *se lever* *homme*, и снести на перевязочный пункт!

Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Ланну, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору.

Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и sondирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить.

Первые слова, которые он услышал, когда очнулся, — были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться: император сейчас проедет; ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило, — сказал другой офицер.

— Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра, — сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире.

Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой, 19-летний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер.

Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь.

— Кто старший? — сказал он, увидав пленных.

Назвали полковника, князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил Наполеон.

— Я командовал эскадроном, — отвечал Репнин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой, — сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату, — сказал Репнин.

— С удовольствием отдаю ее вам, — сказал Наполеон. Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.

Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:

— *Il est venu bien jeune se froter à nous*¹.

— Молодость не мешает быть храбрым, — проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.

— Прекрасный ответ, — сказал Наполеон. — Молодой человек, вы далеко пойдете!

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека — *jeune homme*, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.

— *Et vous, jeune homme?* Ну, а вы, молодой человек? — обратился он к нему, — как вы себя чувствуете, *mon brave*?

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал... Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему.

Да и всё казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.

¹ Молод же он сунулся биться с нами.

Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников:

— Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин, — и он, тронув лошадь, галопом поехал дальше.

На лице его было сиянье самодовольства и счастья.

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него повязанный им золотой образок, навешенный на брата княжной Марьей, увидав ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили возвратить образок.

Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке.

«Хорошо бы это было, — подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, — хорошо бы это было, ежели бы всё было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое всё или ничего, — говорил он сам себе, — или это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнеешего!»

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние усилилось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо составляли главное основание его горячих представлений.

Тихая жизнь и спокойное семейное счастье в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастьем, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по

мнению самого Ларрея, доктора Наполеонова, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.

— *C'est un sujet nerveux et bilieux*, — сказал Ларрей, — *il n'en rechappera pas*¹.

Князь Андрей, в числе других безнадежных раненых, был сдан на попечение жителей.

❧ Задание ❧

❧ Как Толстой изобразил подвиг Андрея Болконского? Какие детали подчеркивают, что его героическое поведение не поэтизируется в этой части романа? Что открыл для себя князь Андрей, глядя на высокое небо (главы XVI, XIX)?

ТОМ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В 1808-м году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания.

В 1809-м году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что, когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бонапарте против прежнего союзника, австрийского императора; до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенною живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления.

Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований.

¹ Это субъект нервный и желчный, — он не выздоровеет.

Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без выказыванья их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем.

Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу.

Одно имение его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте.

Одну половину времени князь Андрей проводил в Лысых Горах с отцом и сыном, который был еще у нянек; другую половину времени в богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг, и к удивлению своему замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди, в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике, далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне.

Кроме занятий по имениям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений.

Весною 1809-го года князь Андрей поехал в рязанские имения своего сына, которого он был опекуном.

Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам.

Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленыя, спуск, с оставшимся снегом у моста, подъём по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными

клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленая первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березнику мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели.

Лакей Петр что-то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но, видно, Петру мало было сочувствования кучера: он повернулся на козлах к барину.

— Ваше сиятельство, легко как! — сказал он, почтительно улыбаясь.

— Чтó!

— Легко, ваше сиятельство.

«Чтó он говорит?» — подумал князь Андрей. «Да, об весне, верно, — подумал он, оглядываясь по сторонам. — И то зелено всё уже... как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает... А дуб и не заметно. Да, вот он, дуб».

На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно видно, суками и с обломанною корой, заросшею старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастье! — как будто говорил этот дуб, — и как не надоест вам всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он всё так же хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.

«Да он прав, тысячу раз прав этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и

пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.

II

По опекунским делам рязанского имения князю Андрею надо было видаться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреевич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что, проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отраденскому дому Ростовых. Вправо из-за деревьев он слышал женский веселый крик и видел бегущую наперерез его коляски толпу девушек. Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало отчего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом всё так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какою-то своею отдельной, — верно глупою, — но веселою и счастливою жизнью. «Чему она так рада? О чем она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» — невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Граф Илья Андреевич в 1809-м году жил в Отрадном всё так же, как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею и почти насильно оставил его ночевать.

В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский несколько раз взглядывая на Наташу, чему-то смеявшуюся, веселившуюся между другою

молодую половиною общества, всё спрашивал себя: «О чем она думает? Чему она так рада?»

Вечером оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался.

Князь Андрей встал и подошел к окну, чтоб отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных деревьев, черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. Под деревьями была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее за черными деревьями была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он слышал сверху женский говор.

— Только еще один раз, — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос.

— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз...

Два женские голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то.

— Ах какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.

— Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.

— Соня! Соня! — слышался опять первый голос. — Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.

Соня неохотно что-то отвечала.

— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки, — ту же, как можно ту же, — натужиться надо, и полетела бы. Вот так!

— Полно, ты упадешь.

Послышалась борьба и недовольный голос Сони:

— Ведь второй час.

— Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди.

Опять всё замолкло, но князь Андрей знал, что она всё еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.

— Ах, боже мой! Боже мой! что ж это такое! — вдруг вскрикнула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно.

«И дела нет до моего существования!» — подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. «И опять она! И как нарочно!» — думал он. В душе его вдруг подвинулась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.

III

На другой день простившись только с одним графом, не дождавшись выхода дам, князь Андрей поехал домой.

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцево-зеленая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», — подумал князь Андрей. «Да где он?», — поду-

мал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преобразенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млея, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, — ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна, — всё это вдруг вспомнилось ему.

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»

<http://kurokam.ru>

Возвратившись из своей поездки, князь Андрей решился осенью ехать в Петербург и придумал разные причины этого решения. Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам. Он даже теперь не понимал, как мог он когда-нибудь сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни, точно так же как месяц тому назад он не понимал, как могла бы ему притти мысль уехать из деревни. Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни. Он даже не понимал того, как на основании таких же бедных разумных доводов прежде очевидно было, что он бы унизился, ежели бы теперь, после своих уроков жизни, опять бы поверил в возможность приносить пользу и в возможность счастья и любви. Теперь разум подсказывал совсем другое. После этой поездки князь Андрей стал скучать в деревне, прежние занятия не интересовали его, и часто, сидя один в сво-

ем кабинете, он вставал, подходил к зеркалу и долго смотрел на свое лицо. Потом он отворачивался и смотрел на портрет покойницы Лизы, которая с взбитыми à la grecque¹ буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки. Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женскою красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь. И в эти-то минуты, когда кто входил к нему, он бывал особенно сух, строго решителен и в особенности неприятно логичен.

— Mon cher², — бывало скажет, входя в такую минуту, княжна Марья, — Николушке нельзя нынче гулять: очень холодно.

— Ежели бы было тепло, — в такие минуты особенно сухо отвечал князь Андрей своей сестре, — то он бы пошел в одной рубашке, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана. Вот что следует из того, что холодно, а не то чтоб оставаться дома, когда ребенку нужен воздух, — говорил он с особенною логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую в нем внутреннюю работу. Княжна Марья думала в этих случаях о том, как сушит мужчин эта умственная работа.

❧ Задания ❧

❧ В чем особенность пейзажа в главах, посвященных поездке в Отрадное?

❧ Какое открытие поразило князя Андрея при встрече с Наташей?

❧ Какие размышления породила у него эта встреча и к какому выводу он пришел (главы II, III)?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

III

Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зелень уклочилась и ярко-зелено отделялась от полос буряющего, выбитого скотом,

¹ по-гречески. (Примеч. сост.)

² Любезный друг.

озимого и светложелтого ярового жнивья с красными полосами гречихи. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами, стали золотистыми и ярко-красными островами посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затерся (перелинял), лисьи выводки начинали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время. Собаки горячего, молодого охотника Ростова уже не только вошли в охотничье тело, но и подбились так, что в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам и 16 сентября идти в отъезд, начиная с Дубравы, где был нетронутый волчий выводок.

В таком положении были дела 14-го сентября.

Весь этот день охота была дома; было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать и оттепело. 15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидел такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты: как будто небо таяло и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе, было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель мги или тумана. На оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли и падали на только что свалившиеся листья. Земля на огороде, как мак, глянцевиито-мокро чернела и в недалеком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана. Николай вышел на мокрое с натасканною грязью крыльцо: пахло вянущим лесом и собаками. Чернопегая, широкозадая сука Милка с большими черными навывкате глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и легла по-русачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула его прямо в нос и усы. Другая борзая собака, увидав хозяина с цветной дорожки, выгибая спину, стремительно бросилась к крыльцу и, подняв правило (хвост), стала тереться о ноги Николая.

— О гой! — слышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор; и из-за угла вышел доезжачий и ловчий Данило, по-украински в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник с гнутым арапником в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином и презрительно посмотрел на него. Презрение это не было оскорбительно для барина: Николай знал, что этот всё презирующий и превыше всего стоящий Данило всё-таки был его человек и охотник.

— Данила! — сказал Николай, робко чувствуя, что при виде этой охотничьей погоды, этих собак и охотника, его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил протоиерей, охрипший от порсканья бас, и два черные блестящие глаза взглянули исподлобья на замолчавшего барина. «Что, или не выдержишь?» как будто сказали эти два глаза.

— Хорош денек, а? И гоньба, и скачка, а? — сказал Николай, чеша за ушами Милку.

Данило не отвечал и помигал глазами.

— Уварку посылаю послушать на заре, — сказал его бас после минутного молчания, — сказывал, в Отраденский заказ *перевела*, там были. (Перевела значило то, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в отраденский лес, который был за две версты от дома и который был небольшое отъёмное место.)

— А ведь ехать надо? — сказал Николай. — Приди-ка ко мне с Уваркой.

— Как прикажете!

— Так погоди же кормить.

— Слушаю.

Через пять минут Данило с Уваркой стояли в большом кабинете Николая. Несмотря на то, что Данило был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни. Данило сам это чувствовал и, как обыкновенно, стоял у самой двери, стараясь говорить тише, не двигаться, чтобы не поломать как-нибудь господских покоев, и стараясь поскорее всё высказать и выйти на простор, из-под потолка под небо.

Окончив расспросы и выпытав сознание Данилы, что собаки ничего (Даниле и самому хотелось ехать), Николай велел седлать. Но только что Данило хотел выйти, как в комнату вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и не одетая, в большом няинном платке. Петя вбежал вместе с ней.

— Ты едешь? — сказала Наташа, — я так и знала! Соня говорила, что не поедете. Я знала, что нынче такой день, что нельзя не ехать.

— Едем, — неохотно отвечал Николай, которому нынче, так как он намеревался предпринять серьезную охоту, не хо-

телось братъ Наташу и Петю. — Едем, да только за волками: тебе скучно будет.

— Ты знаешь, что это самое большое мое удовольствие, — сказала Наташа. — Это дурно, — сам едет, велел седлать, а нам ничего не сказал.

— Тщетны россам все препоны, едем! — прокричал Петя.

— Да ведь тебе и нельзя: маменька сказала, что тебе нельзя, — сказал Николай, обращаясь к Наташе.

— Нет, я поеду, непременно поеду, — сказала решительно Наташа. — Данила, вели нам седлать, и Михайла чтобы выезжал с моею сворой, — обратилась она к ловчему.

И так-то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней, — для него казалось невозможным. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь как-нибудь нечаянно не повредить барышне.

IV

Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день, 15-го сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать.

Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к Отраденскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меренка, называемого Вифлянкой, вел графский стремянной; сам же он должен был прямо выехать в дрожечках на оставленный ему лаз.

Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми выехало доезжачими и выжлятниками шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников.

Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шума и разговоров равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшими к отраденскому лесу.

Как по пушному ковру шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туман-

ное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю; в воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, не шедшей на своем месте.

Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте из тумана показалось еще пять всадников с собаками. Впереди ехал свежий, красивый старик с большими седыми усами.

— Здравствуйте, дядюшка, — сказал Николай, когда старик подъехал к нему.

— Чистое дело марш!.. Так и знал, — заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых), — так и знал, что не вытерпишь, и хорошо, что едешь. Чистое дело марш! (Это была любимая поговорка дядюшки.) — Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик донес, что Илагины с охотой в Корниках стоят; они у тебя — чистое дело марш! — под носом выводок возьмут.

— Туда и иду. Чтó же, свалить стаи? — спросил Николай, — свалить...

Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом. Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное с блестящими глазами лицо, подскочила к ним, сопровождаемая не отстававшими от нее Петей и Михайлой-охотником и берейтором, который был приставлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил, и дергал свою лошадь. Наташа ловко и уверенно сидела на своем вороном Арабчике и верною рукой, без усилия, осадил его.

Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты.

— Здравствуйте, дядюшка, и мы едем, — прокричал Петя.

— Здравствуйте-то, здравствуйте, да собак не передавите, — строго сказал дядюшка.

— Николинька, какая прелестная собака Трунила! Он узнал меня, — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку.

«Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое должно было их разделять в эту минуту. Наташа поняла это.

— Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь, — сказала Наташа. Мы станем на своем месте и не пошевелимся.

— И хорошее дело, графинечка, — сказал дядюшка. — Только с лошади-то не упадите, — прибавил он: — а то — чистое дело марш! — не на чем держаться-то.

Остров Отрадненского заказа виднелся саженьях во ста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав Наташе место, где ей стоять и где никак ничего не могло побегать, направился в заезд над оврагом.

— Ну, племянничек, на матерого становишься, — сказал дядюшка: чур не гладить (протравить).

— Как придется, — отвечал Ростов. — Карай, фюит! — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка. Все стали по местам.

Старый граф, зная охотничью горячность сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленым к оставленному ему лазу и, расправив шубку и надев охотничьи снаряды, влез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, посевшую, как и он, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослал. Граф Илья Андреич, хотя и не охотник по душе, но знавший твердо охотничьи законы, въехал в опушку кустов, от которых он стоял, разобрал поводья, оправился на седле и, чувствуя себя готовым, оглянулся улыбаясь.

Подле него стоял его камердинер, старинный, но отяжелевший ездок, Семен Чекмарь. Чекмарь держал на своре трех лихих, но так же заживевших, как хозяин и лошадь, — волкодавов. Две собаки, умные, старые, улеглись без свор. Шагов на сто подальше в опушке стоял другой стремянной графа, Митька, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф по старинной привычке выпил перед охотой серебряную чарку охотничьей запеканочки, закусил и запил полубутылкой своего любимого бордо.

Илья Андреич был немножко красен от вина и езды; глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, укутанный в шубку, сидя на седле, имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Худой, со втянутыми щеками Чекмарь, устроившись с своими делами, поглядывал на барина, с которым он жил тридцать лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно (видно, уже оно было учено) из-за леса и остановилось

позади графа. Лицо это был старик в седой бороде, в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Ивановна.

— Ну, Настасья Ивановна, — подмигивая ему, шепотом сказал граф, — ты только оттопай зверя, тебе Данило задаст.

— Я сам... с усам, — сказал Настасья Ивановна.

— Шпиши! — зашипал граф и обратился к Семену.

— Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена. — Где она?

— Они с Петром Ильичем от Жаровых бурьянов встали, — отвечал Семен улыбаясь. — Тоже дамы, а охоту большую имеют.

— А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? — сказал граф, — хоть бы мужчине впору!

— Как не дивиться? Смело, ловко!

— А Николаша где? Над Лядовским верхом, что ль? — всё шепотом спрашивал граф.

— Так точно-с. Уж они знают, где стать. Так тонко езду знают, что мы с Данилой другой раз диву даемся, — говорил Семен, зная, чем угодить барину.

— Хорошо ездит, а? А на коне-то каков, а?

— Картину писать! Как намердись из Заварзинских бурьянов помкнули лису. Они перескакивать стали, от уймаща, страсть — лошадь тысяча рублей, а седоку цены нет. Да уж такого молодца поискать!

— Поискать... — повторил граф, видимо сожалея, что кончилась так скоро речь Семена. — Поискать, — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку.

— Намедни как от обедни во всей регалии вышли, так Михаил-то Сидорыч... — Семен не договорил, услышав ясно раздававшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. — На выводок натекли... — прошептал он, прямо на Лядовской повели.

Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы; стая присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служило признаком гона по волку. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно-тонкий. Голос Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле.

Прислушавшись несколько секунд молча, граф и его стремянной убедились, что гончие разбились на две стаи: одна большая, ревавшая особенно горячо, стала удаляться, другая часть стаи понеслась вдоль по лесу мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель; граф тоже вздохнул и, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

— Назад! — крикнул Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку. Настасья Ивановна слез и стал поднимать ее.

Граф и Семен смотрели на него. Вдруг, как это часто бывает, звук гона мгновенно приблизился, как будто вот-вот перед ними самими были лающие рты собак и улюлюканье Данилы.

Граф оглянулся и направо увидал Митьку, который выкатывавшимися глазами смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ему вперед, на другую сторону.

— Береги! — закричал он таким голосом, что видно было, что это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. И поскакал, выпустив собак, по направлению к графу.

Граф и Семен выскакали из опушки и налево от себя увидали волка, который, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули и, сорвавшись со свор, понеслись к волку мимо ног лошадей.

Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой и, мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку. В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк. Вслед за гончими расступились кусты орешника и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком, валясь вперед, сидел Данило без шапки, с седыми, встрепанными волосами над красным, потным лицом.

— Улюлюлю, улюлю!.. — кричал он. Когда он увидал графа, в глазах его сверкнула молния.

— Ж..а, — крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа.

— Проб...ли волка-то!.. охотники! — И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленною на графа, ударил по ввалившимся мокрому бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. Но Семена уже не было: он, в объезд по кустам, заскакивал волка от засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил его.

V

Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих он чувствовал то, что совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где-нибудь травили, и что что-нибудь случилось неблагоприятное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить его. Надежда сменялась отчаянием. Несколько раз он обращался к Богу с мольбой о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что Тебе сто́ит, — говорил он Богу, — сделать это для меня! Знаю, что Ты велик и что грех Тебя просить об этом; но ради Бога сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, вплеился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо.

«Нет, не будет этого счастья, — думал Ростов, — а что бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах, и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» — думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидел, что по пустынному полю

навстречу к нему бежало что-то. «Нет, это не может быть!» — подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седой спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно, убежденный, что никто не видит его. Ростов не дыша оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках.

— Улюлюлю, — шепотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай почесал свою ляжку и встал, насторожив уши, и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти.

«Пускать? не пускать?» — говорил сам себе Николай в то время, как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась, он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда невиданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился — назад или вперед? «Э! всё равно, вперед!» — видно, как будто сказал он сам себе, и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком.

— Улюлю!.. — не своим голосом закричал Николай, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины впоперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки. Николай не слышал ни своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по ложине. Первая показалась вблизи зверя чернопегая, широкозадая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и вместо того, чтобы наддать, как это она всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги.

— Улюлюлюлю! — кричал Николай.

Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал

вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему.

«Уйдет! Нет, это невозможно», — думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом.

— Карай! Улюлю!.. — кричал он, отыскивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду. Карай из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело скакал в сторону от зверя, наперерез ему. Но по быстроте скака волка и медленности скака собаки было видно, что расчет Карая был ошибочен. Николай уже недалеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волк уйдет наверное. Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти навстречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругий, молодой, длинный кобель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами — и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю.

— Караюшка! Отец!.. — плакал Николай...

Старый кобель, с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног, и надал скоку. Но тут — Николай видел только, что что-то сделалось с Караем — он мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ними.

Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из-под которых виднелась седая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога, и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держал его за горло), минута, когда увидал это Николай, была счастливейшею минутою его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины. Волк ляскнул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай с ошестинившеюся шерстью, вероятно ушибленный или раненый, с трудом вылезал из водомоины.

— Боже мой! За что?.. — с отчаянием закричал Николай.

Охотник дядюшки с другой стороны скакал наперерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили.

Николай, его стремянной, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюкая, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился на зад, и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале той травли, Данило, услышав улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как Карай взял волка, и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и опять пошел наутек, Данило выпустил своего бурого не к волку, а прямою линией, к засеке, так же, как Карай, — наперерез зверю. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки.

Данило скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого.

Николай не видал и не слышал Данилы до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он услышал звук паденья тела и увидал, что Данило уже лежит в середине собак на задку волка, стараясь поймать его за уши. Очевидно было и для собак, и для охотников, и для волка, что теперь всё кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данило, привстав, сделал падающий шаг и всюю тяжестью, как будто ложась отдыхать, повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данило прошептал: «Не надо, соструним», — и, переменив положение, наступил ногою на шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данило раза два с одного бока на другой перевалил волка.

С счастливыми, измученными лицами, живого матёрого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь и, сопровождаемые визжавшими на него собаками, повезли к тому месту, где должны были все собраться. Молодых двух взяли гончие и трех борзые. Охотники съезжались с своими добычами и рассказами, и все подходили смотреть матёрого волка, который, свесив свою лобастую голову с закушенной палкой во рту, большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех. Граф Илья Андреич тоже подъехал и потрогал волка.

— О, материщий какой, — сказал он. — Матёрый, а? — спросил он у Данилы, стоявшего подле него.

— Матёрый, ваше сиятельство, — отвечал Данило, поспешно снимая шапку.

Граф вспомнил своего прозванного волка и свое столкновение с Данилой.

— Однако, брат, ты сердит, — сказал граф. — Данило ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски-кроткою и приятной улыбкой.

VII

Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту, ночевать у него, у дядюшки, в его деревне Михайловке.

— И если бы заехали ко мне — чистое дело марш! — сказал дядюшка, еще бы того лучше; видите, погода мокрая, — говорил дядюшка, — отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. — Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное; а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке.

Человек пять, больших и малых, дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъезжающих охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слышать и понимать, что говорят о нем.

— Аринка, глянь-ка, на бочку сидит! Сама сидит, а подол болтается... Вишь, и рожок!

— Батюшки-светы, ножик-то...

— Вишь татарка!

— Как же ты не перекувыркнулась-то? — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе.

Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного заросшего садом домика и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано всё нужное для приема гостей и охоты.

Всё разбежалось. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким дощатым ступеням крыльца. В доме, нештукатуренном, с бревенчатыми стенами, было

не очень чисто, — не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры.

Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак.

В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившеюся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками. Из-за ширм слышался женский смех и шепот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул; Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своею сестрой); Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха.

Немного погодя, дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном — был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка был тоже весел; он не только не обиделся смеху брата и сестры (ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнью), а сам присоединился к их беспричинному смеху.

— Вот так графиня молодая — чистое дело марш — другой такой не видывал! — сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой, короткий, обрезанный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев.

— День отъездила, хоть мужчине впору, и как ни в чем не бывало!

Скоро после дядюшки отворила дверь, по звуку ног, очевидно босая, девка, и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет сорока, с двойным подбородком и полными, румяными губами. Она с гостеприимною представительностью и привлека-

тельностью в глазах и каждом движении оглянула гостей и с ласковою улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину больше чем обыкновенную, заставлявшую ее выстав-
лять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщи-
на эта (экономка дядюшки) ступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми, пухлыми руками сняла и расставила по столу бутылки, закуски и угощенья. Окончив это, она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. — «Вот она и я! Теперь понимаешь дядюшку?» — сказало Ростову ее появление. Как не понимать: не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей, и счастливой, самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисья Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная.

Всё это было хозяйства, сбора и варенья Анисьи Федоровны. Всё это и пахло и отзывалось и имело вкус Анисьи Федоровны. Всё отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятною улыбкой.

— Покупайте, барышня-графинюшка, — приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое. Наташа ела всё, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге, с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневою наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей в первый раз принимающих в своем доме своих знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей:

— Так-то вот и доживаю свой век... Умрешь, — чистое дело марш — ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это. Ростов невольно вспомнил при этом всё, что он хорошего слышал от отца и соседей о дядюшке. Дядюш-

ка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но от общественной службы он всегда упорно отказывался, осень и весну проводя в полях на своем кауром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду.

— Что же вы не служите, дядюшка?

— Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш, я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, это чистое дело марш! Отворите-ка дверь-то, — крикнул он. — Что ж затворили! — Дверь в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в холостую охотническую: так называлась людская для охотников. Босые ноги быстро зашлепали, и невидимая рука отворила дверь в охотническую. Из коридора ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл, очевидно, какой-нибудь мастер этого дела. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

— Это у меня мой Митька-кучер... Я ему купил хорошую балалайку, люблю, — сказал дядюшка. — У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостой охотнической Митька играл на балалайке. Дядюшка любил слушать эту музыку.

— Как хорошо! Право отлично, — сказал Николай с некоторым невольным пренебрежением, как будто ему совестно было признаться в том, что ему очень были приятны эти звуки.

— Как отлично? — с упреком сказала Наташа, чувствуя тон, которым сказал это брат. — Не отлично, а это прелесть что такое! — Ей так же как грибки, мед и наливки дядюшки казались лучшими в мире, так и эта песня казалась ей в эту минуту верхом музыкальной прелести.

— Еще, пожалуйста еще, — сказала Наташа в дверь, как только замолкла балалайка. Митька настроил и опять задребезжал *Барыню* с переборами и перехватами. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову набок с чуть заметною улыбкой. Мотив *Барыни* повторился раз сто. Несколько раз балалайку настраивали, и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту игру. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолке.

— Извольте слушать? — сказала она Наташе, с улыбкой, чрезвычайно похожею на улыбку дядюшки. — Он у нас славно играет, — сказала она.

— Вот в этом колене не то делает, — вдруг с энергическим жестом сказал дядюшка. — Тут рассыпать надо — чистое дело марш — рассыпать.

— А вы разве умеете? — спросила Наташа. — Дядюшка не отвечая улыбнулся.

— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы, что ль, на гитаре-то? Давно уж в руки не брал, — чистое дело марш! забросил.

Анисья Федоровна охотно пошла своею легкой поступью исполнить поручение своего господина и принесла гитару.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не *Барыню*, а взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделявать известную песню «По у-ли-и-иде мостовой». В раз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна покраснелась и, закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически-твердо отделявать песню, измекившимся вдохновенным взглядом глядя на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны под седым усом, особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, ускорялся такт и в местах переборов отрывалось что-то.

— Прелесть, прелесть, дядюшка! еще, еще! — закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. — Николинька, Николинька! — говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его: что же это такое?

Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из-за ней еще другие лица.

За холодной ключевой,

Кричит девица, стой! —

играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка, — таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека, — один

из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской.

— Ну, племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшему аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинута на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала — эта графинечка, воспитанная эмигрантской-француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châte* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графинечка, чистое дело марш! — радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. — Ай да племянница! Вот только бы муженька тебе молодца выбрать, — чистое дело марш.

— Уж выбран, — сказал улыбаясь Николай.

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливою улыбкой утвердительно кивнула головой.

— Еще какой! — сказала она. Но как только она сказала это, другой, новый строй мыслей и чувств поднялся в ней. «Что значила улыбка Николая, когда он сказал: «уж выбран»? Рад он этому или не рад? Он как будто думает, что мой Болконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы всё понял. Где он теперь?» — подумала Наташа, и лицо ее вдруг стало серьезно. Но это продолжалось только одну секунду. «Не думать, не смей думать об этом», — сказала она себе и, улыбаясь, под села опять к дядюшке, прося его сыграть еще что-нибудь.

Дядюшка сыграл еще песню и вальс; потом, помолчав, прокашлялся и запел свою любимую охотничью песню:

<http://kurokam.ru>

Как со вечера пороша
Выпадала хороша...

Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне всё значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была в восторге от пения дядюшки. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а будет играть только на гитаре. Она попросила у дядюшки гитару и тотчас же подобрала аккорды к песне.

В десятом часу за Наташей и Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых, посланных отыскивать их. Граф и графиня не знали, где они, и очень беспокоились, как сказал посланный.

Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку; Наташа с Николаем сели в дрожки. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новою нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать вброд, и велел с фонарями ехать вперед охотникам.

— Прощай, племянница дорогая! — крикнул из темноты его голос, не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел: «Как со вечера пороша».

В деревне, которую проезжали, были красные огоньки и весело пахло дымом.

— Что за прелесть этот дядюшка! — сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу.

— Да, — сказал Николай. — Тебе не холодно?

— Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, — с недоумением даже сказала Наташа. Они долго молчали.

Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи.

Что делалось в этой детской, восприимчивой душе, так жадно ловившей и усваивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это всё укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни: «Как со вечера пороша», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.

— Поймала? — сказал Николай.

— Ты об чем думал теперь, Николинка? — спросила Наташа. — Они любили это спрашивать друг у друга.

— Я? — сказал Николай вспоминая, — вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дя-

дюшку и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы держал у себя, ежели не за скачку, так за лады, всё бы держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли? — Ну, а ты?

— Я? Постой, постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы бог знает куда едем в этой темноте и вдруг приедем и увидим, что мы не в Отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала... Нет, ничего больше.

— Знаю, верно про *него* думала, — сказал Николай улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса.

— Нет, — отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. — А еще я всё повторяю, всю дорогу повторяю: как Анисьюшка хорошо выступала, хорошо... — сказала Наташа. И Николай услышал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех.

— А знаешь, — вдруг сказала она, — я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

— Вот вздор, глупости, вранье, — сказал Николай и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа! Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж? — всё бы с ней ездили».

«Экая прелесть этот Николай!» — думала Наташа.

— А! еще огонь в гостиной, — сказала она, указывая на окна дома, красиво блестящие в мокрой, бархатной темноте ночи.

❧ Задания ❧

- ❧ Какое чувство объединяет всех участников охоты перед выездом?
- ❧ Каковы их взаимоотношения в дальнейшем?
- ❧ В чем состояние человека на охоте отличается от повседневного (главы IV—V)?
- ❧ Как чувствуют себя молодые Ростовы в гостях у дядюшки? Какие свойства Наташи проявились в ее танце (глава VII)?

ТОМ ТРЕТИЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XX

25-го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили,

Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песенниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики-мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.

Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро; над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненные колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке.

Один раненый старый солдат с подвязанною рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровою рукою и оглянулся на Пьера.

— Чтó ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы? — сказал он.

Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский полк, повстречавшийся теперь с поездом раненых, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых и лежал один. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившеюся доброю улыбкой смотрел на Пьера; третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы-песенники проходили над самою телегой.

— Ах запропала... да ежова голова... Да на чужой стороне живучи... — выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, об-

ливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно.

Солдат с распухшею щекой сердито глядел на песенников-кавалеристов.

— Ох, щегольки! — проговорил он укоризненно.

— Нынче не то, что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, — сказал с грустною улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. — Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят. — Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял всё то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.

Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше.

Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые, военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак.

Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Граф! Ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот хотелось посмотреть...

— Да, да, будет что посмотреть...

Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении.

Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к светлейшему.

— Что же вам, бог знает, где находиться во время сражения, в безызначности, — сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, — а светлейший всё-таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте, — сказал доктор.

Доктор казался усталым и спешащим.

— Так вы думаете... А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? — сказал Пьер.

— Позиция? — сказал доктор, — уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают. Там на курган войдете: оттуда видно, — сказал доктор.

— И видно оттуда?.. Ежели бы вы...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, да, ей-богу, вот (доктор показал на горло) скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как?.. Вы знаете, граф, завтра сражение; на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое; как хочешь, так и делай.

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было наверное двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), — поразила Пьера.

«Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?» И ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.

«Кавалеристы идут на сражение и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу! Странно!» — думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.

У помещичьего дома, на левой стороне дороги, стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было, и почти никого не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к Горкам.

Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидел в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые, с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травой.

Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая.

Два офицера стояли на кургане, распорядясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно забавляющихся еще своим новым военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что *всем народом навалиться хотят*. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями

и кое у кого расстегнутыми косыми воротами рубаш, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.

XXIV

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосе тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров — солдатских кухонь.

Как ни тесна и никому не нужна и ни тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад в Аустерлице, накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным.

Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное из всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображений о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно, представилась ему. И с высоты этого представления всё, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным, белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы», — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном, белом свете дня — ясной мысли о смерти. «Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И всё это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое,

я чувствую, поднимается для меня». Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненной таинственных сил. Как же я любил ее! я делал поэтические планы о любви, о счастье с нею. О милый мальчик!» — с злостью вслух проговорил он. — «Как же! я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. — А всё это гораздо проще... Всё это ужасно просто, гадко!»

«Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы, и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? Никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, гибель Москвы! А завтра меня убьет — и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».

Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было... чтобы всё это было, а меня бы не было». Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров, всё вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить.

За сараем послышались голоса.

— Кто там? — окликнул князь Андрей.

Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь, за убылью офицеров, батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка.

Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые

приказания и собирался отпустить их, когда из-за сарая слышался знакомый, пришепетывающий голос.

— *Que diable!*¹ — сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то.

Князь Андрей, выглянув из сарая, увидел подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жердь и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.

— А, вот как! — сказал он. — Какими судьбами? Вот не ждал.

В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица была больше чем сухость — была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.

— Я приехал... так... знаете... приехал... мне интересно, — сказал Пьер, уже столько раз в этот день бессмысленно повторявший это слово «интересно». — Я хотел видеть сражение.

— Да, да, а братья-малоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал князь Андрей насмешливо. — Ну что Москва? Что мои? Приехали ли наконец в Москву? — спросил он серьезно.

— Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в подмосковную.

XXV

Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз с своим другом, предложил им посидеть и выпить чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.

— Так ты понял всё расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как? — сказал Пьер. — Как невоенный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

¹ Ах, черт возьми!

— Eh bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit¹, — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Пьер с недоумением, через очки глядя на князя Андрея. — Ну как вы скажете насчет назначения Кутузова? — сказал он.

— Я очень рад был этому назначению, вот всё, что я знаю, — сказал князь Андрей.

— Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая-де-Толли? В Москве бог знает что говорили про него. Как вы судите о нем?

— Спроси вот у них, — сказал князь Андрей, указывая на офицеров.

Пьер с снисходительно-вопросительною улыбкой, с которой невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него.

— Свет увидали, ваше сиятельство, как светлейший поступил, — робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин.

— Отчего же так? — спросил Пьер.

— Да вот хоть бы насчет дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцяи отступали, не смей хворостины тронуть, или сенца там, или что. Ведь мы уходим, *ему* достается, не так ли, ваше сиятельство? — обратился он к своему князю, — а ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали...

— Так отчего же он запрещал?

Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею.

— А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, — злобно-насмешливо сказал князь Андрей. — Это очень основательно: нельзя позволять грабить край и приучаться войскам к мародерству. Ну и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, — вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, — но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за Русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесят�ерял наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался

¹ Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.

всё сделать как можно лучше, он всё обдумал; но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он всё обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Как бы тебе сказать... Ну, у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом, и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник! Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нареkania, из изменников сделают вдруг героем или гением, что еще будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец...

— Однако, говорят, он искусный полководец, — сказал Пьер.

— Я не понимаю, что такое значит искусный полководец, — с насмешкой сказал князь Андрей.

— Искусный полководец, — сказал Пьер, — ну тот, который предвидел все случайности... ну, угадал мысли противника.

— Да это невозможно, — сказал князь Андрей, как будто про давно решенное дело.

Пьер с удивлением посмотрел на него.

— Однако, — сказал он, — ведь говорят же, что война подобна шахматной игре.

— Да, — сказал князь Андрей, — только с тою маленькою разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени и еще с тою разницей, что конь всегда сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Поверь мне, — сказал он, — что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них... Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?

— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате.

Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.

— Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли, — ну так бежать!», мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, Бог знает что бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, — продолжал он, — всё это вздор, ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого; а то, что делается теперь — всё это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.

— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.

— В *такую минуту*, — повторил князь Андрей, — для них и это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти двести тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что, что бы там ни было, что бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!

— Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин, — что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят. — Все помолчали.

Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. Когда офицеры ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел

начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицем, сопровождаемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услышали следующие фразы:

— Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben¹, — говорил один.

— О ja, — сказал другой голос, — der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privat-Personen in Achtung nehmen.

— О ja², — подтвердил первый голос.

— Да, im Raum verlegen³, — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum⁴ у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это всё равно. Вот оно то, что я тебе говорил, — эти господа-немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно на завтра, — то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали *ему* и приехали нас учить — славные учителя! — опять взвизгнул его голос.

— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер.

— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я совершенно, совершенно согласен с вами!

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и всё зна-

¹ Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить (нем.).

² О да, так как цель состоит в том, чтоб ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц. — О да (нем.).

³ перенести в пространство (нем.).

⁴ В пространстве-то (нем.).

чение этой войны и предстоящего сражения. Всё, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (*latente*), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти.

— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокою. А то мы играли в войну, — вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность — вроде великодушия и чувствительности барыни, с которою делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентарстве, падать несчастных и так далее. Всё вздор. Я видел в 1805 году рыцарство, парламентарство; нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего, убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями...

Князь Андрей, думавший, что ему было всё равно, возьмут ли или не возьмут Москву так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить.

— Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда стоит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иванович обидел Михаила Ивановича. А ежели война, как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей... Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны —

убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то, это — высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. — Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да не надолго! — прибавил он. — Однако ты спишь, да и мне пора, поезжай в Горки, — вдруг сказал князь Андрей.

— О нет! — отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.

— Поезжай, поезжай: пред сражением нужно выспаться, — повторил князь Андрей. Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. — Прощай, ступай, — прокричал он. — Увидимся ли, нет... — и он, поспешно повернувшись, ушел в сарай.

Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя Андрея, было ли оно злобно или нежно.

Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. «Нет, ему не нужно! — решил сам собой Пьер, — и я знаю, что это наше последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки.

Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать.

Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и, всякую минуту пере-

рываясь в своем рассказе, говорила: «нет, не могу, я не так рассказываю; нет, вы не понимаете», несмотря на то, что князь Андрей успокаивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал всё, что она хотела сказать. Наташа была недовольна своими словами, — она чувствовала, что не выходило то страстно-поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу... и такие добрые у него... нет, я не умею рассказать», — говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь тою же радостною улыбкой, которою он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее», — думал князь Андрей. «Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил...» И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. «Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которою он не удостоил связать свою судьбу. А я?.. И до сих пор он жив и весел».

Князь Андрей, как будто кто-нибудь обжег его, вскочил и стал опять ходить перед сараем.

XXX

Вернувшись от князя Андрея в Горки, Пьер, приказав берейтору приготовить лошадей и рано утром разбудить его, тотчас же заснул за перегородкой, в уголке, который Борис уступил ему.

Когда Пьер совсем очнулся на другое утро, в избе уже никого не было. Стекла дребезжали в маленьких окнах. Берейтор стоял, расталкивая его.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство, ваше сиятельство... — упорно, не глядя на Пьера и, видимо, потеряв надежду разбудить его, раскачивая его за плечо, приговаривал берейтор.

— Что? Началось? Пора? — заговорил Пьер проснувшись.

— Извольте слышать пальбу, — сказал берейтор, отставной солдат, — уже все господа повышли, сами светлейшие давно проехали.

Пьер поспешно оделся и выбежал на крыльцо. На дворе было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что

вырвавшись из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными тучей лучами через крыши противоположной улицы, на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы. Гул пушек яснее слышался на дворе. По улице прорыснул адъютант с казаком.

— Пора, граф, пора! — прокричал адъютант.

Приказав вести за собой лошадь, Пьер пошел по улице к кургану, с которого он вчера смотрел на поле сражения. На кургане этом была толпа военных и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова, с его белою с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи. Кутузов смотрел в трубу вперед по большой дороге.

Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищения пред красотою зрелища. Это была та же панорама, которою он любовался вчера с этого кургана; но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого-то драгоценного желто-зеленого камня, виднелись своею изогнутою чертой вершин на горизонте, и между ними за Валуевым прорезывалась большая Смоленская дорога, вся покрытая войсками. Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде — спереди, справа и слева — виднелись войска. Всё это было оживленно, величественно и неожиданно; но то, что более всего поразило Пьера, — это был вид самого поля сражения, Бородина и лощины над Колочею по обеим сторонам ее.

Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где, в болотистых берегах, Война впадает в Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебнo окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по пштыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат, кое-где зеленые ящики, пушки. И всё это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому

пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой из ничего пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.

Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища.

«Пуф-ф!» — вдруг виднелся круглый, плотный, играющий лиловым, серым и молочно-белым цветами дым, и «бум!» — раздавался через секунду звук этого дыма.

«Пуф-пуф» — поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь; и «бум-бум» — подтверждали звуки то, что видел глаз.

Пьер оглядывался на первый дым, который он оставил округлым, плотным мячиком, и уже на месте его были шары дыма, тянувшегося в сторону, и пуф... (с остановкой) пуф-пуф — зарождались еще три, еще четыре, и на каждый с теми же расстановками, бум... бум-бум-бум — отвечали красивые, твердые, верные звуки. Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны по полям и кустам беспрестанно зарождались эти большие дымы с своими торжественными отголосками, и ближе еще по низам и лесам вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей и точно так же давали свои маленькие отголоски. Трах-та-та-тах — трещали ружья хотя и часто, но неправильно и бедно в сравнении с орудейными выстрелами.

Пьеру захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки, это движение, эти звуки. Он оглянулся на Кутузова и на его свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и, как ему казалось, с тем же чувством смотрели вперед на поле сражения. На всех лицах светилась теперь та *скрытая теплота* (*chaleur latente*) чувства, которое Пьер замечал вчера и которое он понял совершенно после своего разговора с князем Андреем.

— Поезжай, голубчик, поезжай, Христос с тобой, — говорил Кутузов, не спуская глаз с поля сражения, генералу, стоявшему подле него.

Выслушав приказание, генерал этот прошел мимо Пьера, к сходу с кургана.

— К переправе! — холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос одного из штабных, куда он едет.

«И я, и я», — подумал Пьер и пошел по направлению за генералом.

Генерал сажился на лошадь, которую подал ему казак. Пьер подошел к своему берейтору, державшему лошадей. Спросив, которая помирнее, Пьер взлез на лошадь, схватился за гриву, прижал каблуки вывернутых ног к животу лошади и, чувствуя, что очки его спадают и что он не в силах отнять рук от гривы и поводьев, поскакал за генералом, возбуждая улыбки штабных, с кургана смотревших на него.

XXXI

Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вперед, то влево, то вправо; но везде были солдаты, с одинаково озабоченными лицами, занятыми каким-то невидным, но, очевидно, важным делом. Все с одинаково недовольно-вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе, неизвестно для чего топчущего их своею лошадью.

— Чего ездит посреди батальона! — крикнул на него один. Другой толкнул прикладом его лошадь, и Пьер, прижавшись к луке и едва удерживая шарахнувшуюся лошадь, выскакал вперед солдат, где было просторно.

Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал к ним. Сам того не зная, Пьер заехал к мосту через Колочу, который был между Горками и Бородиным и который в первом действии сражения (заняв Бородино) атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост и что с обеих сторон моста и на лугу, в тех рядах лежащего сена, которые он заметил вчера, в дыму что-то делали солдаты; но, несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут-то и было поле сражения. Он не слышал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, не видал неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. С улыбкой, не сходявшею с его лица, он оглядывался вокруг себя.

— Что ездит этот пред линией? — опять крикнул на него кто-то.

— Влево, вправо возьми, — кричали ему.

Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. Адъютант этот сердито

взглянул на Пьера, очевидно собираясь тоже крикнуть на него, но, узнав его, кивнул ему головой,

— Вы как тут? — проговорил он и поскакал дальше.

Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому-нибудь, поскакал за адъютантом.

— Это здесь, что же? Можно мне с вами? — спрашивал он.

— Сейчас, сейчас, — отвечал адъютант и, подскочив к толстому полковнику, стоявшему на дугу, что-то передал ему и тогда уже обратился к Пьеру.

— Вы зачем сюда попали, граф? — сказал он ему с улыбкой. — Всё любопытствуете?

— Да, да, — сказал Пьер. Но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше.

— Здесь-то слава Богу, — сказал адъютант, — но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет.

— Неужели? — спросил Пьер. — Это где же?

— Да вот поедemте со мной на курган, от нас видно. А у нас на батарее еще сносно, — сказал адъютант. — Что ж, едете?

— Да, я с вами, — сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтора. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке с пахучими рядами сена, по которому он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером. — А этого отчего не подняли? — начал было Пьер; но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал.

Пьер не нашел своего берейтора и вместе с адъютантом низом поехал по лощине к кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.

— Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф? — спросил адъютант.

— Нет, ничего, но что-то она прыгает очень, — с недоумением сказал Пьер.

— Э!.. да она ранена, — сказал адъютант, — правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф, — сказал он, — *le baptême de feu*¹.

Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору.

¹ крещение огнем.

— Здесь генерал? — спросил адъютант, подходя к кургану.

— Сейчас были, поехали сюда, — указывая вправо, отвечали ему.

Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать.

— Не беспокойтесь, — сказал Пьер. — Я пойду на курган, можно?

— Да пойдите, оттуда всё видно и не так опасно. А я заеду за вами.

Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер узнал, что это-му адъютанту в этот день оторвало руку.

Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи или батареи Раевского, а у французов под именем *la grande redoute*, *la fatale redoute*, *la redoute du centre*¹ место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.

Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами месте стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.

В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.

Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.

Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно-радостною улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер всё с тою же улыбкой вставал и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батарее беспрестанно одна за другою стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.

В противоположность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, было

¹ большого редута, рокового редута, центрального редута.

ограничено, отделено от других канавой, — здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.

Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.

Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно только что выпущенный из корпуса, распорядясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.

— Господин, позвольте вас попросить, с дороги, — сказал он ему, — здесь нельзя.

Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смиренно сидел на откосе вала, или с робкою улыбкой, учтиво сторонясь пред солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами, так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоумения к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище: «наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.

Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.

— И как это вы не боитесь, барин, право! — обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.

— А ты разве боишься? — спросил Пьер.

— А то как же? — отвечал солдат. — Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, — сказал он смеясь.

Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтоб он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.

— Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!

— По местам! — крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенною отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.

Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флешы Багратиона, но из-за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали всё внимание Пьера. Первое его бессознательно-радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.

К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, и чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.

— Чиненка! — кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. — Не сюда! К пехотным! — с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.

— Что, знакомая? — смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.

Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.

— И цепь сняли, видишь, назад прошли, — говорили они, указывая через вал.

— Свое дело гляди, — крикнул на них старый унтер-офицер. — Назад прошли, значит, назади дело есть. — И унтер-офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.

— К пятому орудью накатывай! — кричали с одной стороны.

— Разом, дружнее, по-бурлацки, — слышались веселые крики переменявших пушку.

— Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, — показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. — Эх, нескладная, — укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека. — Ну вы, лисицы! — смеялся дру-

гой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым. — Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! — кричали на ополченцев, замаявших пред солдатом с оторванной ногой. — Тое кое, малый, — передразнивали мужиков. — Страсть не любят!

Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери всё более и более разгоралось общее оживление.

Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.

Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, всё более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.

В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой-то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.

Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.

Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пупек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раз два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше раздумавшись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.

Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.

— Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? — спросил он.

— Картечь! — не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.

Вдруг что-то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Всё сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.

Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.

Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновение шлепнуло во что-то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.

— Все картечью! — кричал офицер.

Унтер-офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.

— Разбойники, что делают! — закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. — Беги к резервам, приводи ящики! — крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.

— Я пойду, — сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.

— Не стрелять... Выждидай! — кричал он.

Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.

— Эх, барин, не место тебе тут, — сказал он и побежал вниз.

Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.

Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» — вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остано-

вился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновение блеск большого огня осветил его, и в то же мгновение раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.

Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.

XXXII

Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.

В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие-то люди что-то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что-то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» — и видел еще что-то странное.

Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другою за горло. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.

Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен, или он взят в плен мною?» — думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, всё крепче и крепче сжимала его горло. Француз что-то хотел сказать, как вдруг над самую голову их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось,

что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.

Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастьем возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)

Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.

С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицер сидел, всё так же свернувшись у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убрали.

Пьер побежал вниз.

«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.

Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что-то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.

XXXIII

Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение По-

нятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.

Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.

Потом, когда дым застилал всё поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана — на флешу и слева полки вице-короля — на Бородино.

От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеша находилась на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и потому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более, что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флешу, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застилал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что-то черное, вероятно люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.

Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флешу. Дым стлался пред флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из-за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.

Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.

Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить пред ним.

Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.

Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкающей стрельбы

ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что́ делать друг с другом, кричали и бежали назад.

С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что́ происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютанты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что́ они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две-три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись, и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице-короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он переходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сражения.

Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флешы были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.

Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большею частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, попав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя

против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказа догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг, и только что выехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжения о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат — стрелять, когда конных — топтать русских пеших, все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказа или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека — собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.

XXXV

Кутузов сидел, понутив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

«Да, да, сделайте это», — отвечал он на различные предложения; «Да, да, съезди, голубчик, посмотри», — обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: «Нет, не надо, лучше подождем», — говорил он. Он выслушивал приносимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненными; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили,

а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.

Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва преодолевшее усталость слабого и старого тела.

В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флешы были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.

— Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что́ и как, — сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади его.

— Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией?

Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.

Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.

— Подождите, господа, — сказал он. — Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. — Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.

Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадал, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.

— Съезди, голубчик, — сказал он Ермолову, — посмотри, нельзя ли что́ сделать.

Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была

несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.

В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.

Флигель-адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо *im Raum verlegen*¹, и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай-де-Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.

Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшимися глазами взглянул на Вольцогена.

Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительною улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.

Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющею целью показать, что он, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «*Der alte Herr* (как называли Кутузова в своем кругу немцы) *macht sich ganz bequem*»², — подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие пред Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.

— Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их, — докладывал он.

Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена.

¹ перенести в пространство (нем.).

² «Старый господин покойно устроился» (нем.).

Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn¹, с улыбкой сказал:

— Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел... Войска в полном расстройстве...

— Вы видели? Вы видели?.. — нахмурившись закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. — Как вы... как вы смее!.. — делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. — Как смее вы, милостивый государь, говорить это *мне*. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы, и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.

Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его.

— Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое неперменное намерение атаковать неприятеля, — строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. — Отбиты везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден и завтра погоним его из священной земли русской, — сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь über diese Eingenommenheit des alten Herrn².

— Да, вот он мой герой, — сказал Кутузов к полному красивому, черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проводивший весь день на главном пункте Бородинского поля.

Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более.

Выслушав его, Кутузов по-французски сказал:

— Vous ne pensez donc pas *comme les autres* que nous sommes obligés de nous retirer?³

— Au contraire, votre altesse, dans les affaires indécises c'est toujours le plus opiniâtre qui reste victorieux, — отвечал Раевский, — et mon opinion...⁴

¹ старого господина.

² на это самодурство старого господина.

³ — Вы, стало быть, не думаете, как *другие*, что мы должны отступить?

⁴ — Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение...

— Кайсаров! — крикнул Кутузов своего адъютанта. — Садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты, — обратился он к другому, — поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.

Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай-де-Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.

Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.

И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.

Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.

И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услышав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

XXXIX

Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно собирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны — назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.

Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестящими штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странною кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всё и побежать куда попало.

Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.

Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.

Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли *половину* своего войска.

Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сражения, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная, нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же, как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута, и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, всё равно что говорить о том, что бы было, если бы осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упавший дух войска не позволял того.

Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину* войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою гибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвраще-

ние по старой Смоленской дороге, гибель пятисоттысячного нашествия и гибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.

❧ Задания ❧

- ❧ С каким чувством Пьер отправился в армию? Что объясняет Пьеру князь Андрей накануне Бородинского сражения?
- ❧ Чьими глазами читатель видит в романе Бородинское сражение?
- ❧ Что происходит в душе Пьера накануне и во время сражения? Что он понял на батарее Раевского?
- ❧ Как изображены Кутузов и Наполеон в эпизоде Бородинского сражения? (главы XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXIX, XXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XIII

31-го августа, в субботу, в доме Ростовых всё казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные вёрхом и увязанные, некоторые еще пустые.

Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда-то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с укусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу между разбросанными платьями, лентами, шарфами и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.

Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала

свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальное всё-таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.

— Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?

И когда Дуняша охотно обещалась ей всё сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.

Девушки, лакеи, ключница, няня, повара, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.

Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.

Бывшая ключница, старушка Мавра Кузьминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.

— Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? — говорила Мавра Кузьминишна. — Вам бы покойнее на квартире... Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.

— Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Вон начальник... спросите, — и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.

Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.

— Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она.

Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.

— Кого вам угодно, мамзель? — сказал он, суживая глаза и улыбаясь.

Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.

— О, да, отчего ж, можно, — сказал он.

Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузьминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.

— Можно, он сказал, можно! — шепотом сказала Наташа.

Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузьминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.

— Надо всё-таки папаше доложить, — сказала Мавра Кузьминишна.

— Ничего, ничего, разве не всё равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.

— Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.

— Ну, я спрошу.

Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.

— Вы спите, мама?

— Ах, какой сон! — сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.

— Мама, голубчик, — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. — Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузьминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите... — говорила она быстро, не переводя духа.

— Какие офицеры? Кого привезли? ничего не понимаю, — сказала графиня.

Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбнулась.

— Я знала, что вы позволите... так я так и скажу. — И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.

— Досиделись мы! — с невольною досадой сказал граф. — И клуб закрыт, и полиция выходит.

— Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? — сказала ему Наташа.

— Разумеется, ничего, — рассеянно сказал граф. — Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать завтра... — И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.

Он говорил, что нынче народ разбирает оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием и что там будет большое сражение.

Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, — что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женскою, невольною хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего. <...>

XV

Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая, осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквях. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.

Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики, огромною толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли повышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.

В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей

было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено, и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1-го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что отдай одну подводу, не было причины не отдать другой, отдай все — нужно отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.

Проснувшись утром 1-го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только что заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы увязанные стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком-денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанною рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтоб они удалились.

— Ну, что, всё готово, Васильич? — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)

— Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.

— Ну и славно, вот графиня проснется, и с Богом! Вы что, господа? — обратился он к офицеру. — У меня в доме? — Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг ярко краской.

— Граф, сделайте одолжение, позвольте мне... ради Бога... где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет... Мне на возу всё равно... — Еще не успел договорить офицер, как денщик с тою же просьбой для своего господина обратился к графу.

— А! да, да, да, — поспешно заговорил граф. — Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну

или две телеги, ну там... что же... что нужно... — какими-то неопределенными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просят ехать.

— Ну, что же, можно сложить что-нибудь, — прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал.

В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышним летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему *ma-mie Schoss* обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают, добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.

— Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?

— Знаешь, *ma chère*¹, я вот что хотел тебе сказать... *ma chère* графинюшка... ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это всё дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть... Знаешь, думаю, право, *ma chère*, вот, *ma chère*... пускай их свезут... куда же торопиться?.. — Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, и привыкла, и долгом считала всегда противуборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.

Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу:

— Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и всё наше — *детское* состояние погубить

¹ дружок.

хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон, напротив, у Лопухиных, еще третьего дня всё дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы — дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.

Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

— Папа! об чем вы это? — сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.

— Ни о чем! Тебе что за дело! — сердито проговорил граф.

— Нет, я слышала, — сказала Наташа. — Отчего ж маменька не хочет?

— Тебе что за дело? — крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.

— Папенька, Берг к нам приехал, — сказала она, глядя в окно.

XVI

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал всё то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.

Он 1 сентября приехал из армии в Москву.

Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что-то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.

Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.

Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамыши.

— Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, — сказал граф, — что войска? Отступают или будет еще сражение?

— Один предвечный Бог, папаша, — сказал Берг, — может решить судьбы отечества. Армия горит духом героизма, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно-древнего мужества российских войск,

которое они — оно, — поправился он, — показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать... Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), — я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти... да, мужественные и древние подвиги, — сказал он скороговоркой. — Генерал Барклай-де-Толли жертвовал жизнью своею везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! — И тут Берг рассказал всё, что он запомнил из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого-то вопроса, смотрела на него.

— Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! — сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд... — «Россия не в Москве, она в сердцах ее сынов!» Так, папаша? — сказал Берг.

В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.

— Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать...

— Я не понимаю, что делают люди, — сказала графиня, обращаясь к мужу, — мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому-нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митиньке. Это конца не будет!

Граф хотел что-то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.

Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.

— А у меня к вам, папаша, большая просьба, — сказал он.

— Гм?... — сказал граф, останавливаясь.

— Еду я сейчас мимо Юсупова дома, — смеясь, сказал Берг. — Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там

одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с английским секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и...

Граф сморщился и заперхал.

— У графини просите, а я не распоряжаюсь.

— Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, — сказал Берг. — Мне для Верушки только очень бы хотелось.

— Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту!.. — закричал старый граф. — Голова кругом идет. — И он вышел из комнаты.

Графиня заплакала.

— Да, да, маменька, очень тяжелые времена! — сказал Берг.

Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом сообщая что-то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.

На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе всё так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.

— Ты знаешь, за что? — спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел, за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.

— За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых, — сказал Петя. — Мне Васильич сказал. По-моему...

— По-моему, — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, — по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю! Разве мы немцы какие-нибудь?.. — Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице.

Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не может быть, чтобы вы приказали.

Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя, посмотрите, что на дворе! — закричала она, — они остаются!..

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе... Маменька!.. Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидела ее пристыженное за мать лицо, увидела ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь! — сказала она, еще не вдруг сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня.

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Mon cher, ты распорядись, как надо... Я ведь не знаю этого, — сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат... — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

— Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. — спрашивала Наташа. — Мы всё-таки возьмем всё самое нужное... — говорила Наташа.

Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по залу в переднюю и по лестнице на двор.

Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтоб отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе; точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.

Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые выползли из своих комнат и

с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненные из других домов. Многие из раненных просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было всё равно, оставлять всё или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и всё искали и находили возможность сложить то и то, и отдать еще и еще подводы.

— Четверых еще можно взять, — говорил управляющий, — я свою повозку отдаю, а то куда же их?

— Да отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно-счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.

— Куда же его привязать? — говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, — надо хоть одну подводу оставить.

— Да с чем он? — спрашивала Наташа.

— С книгами графскими.

— Оставьте. Васильич уберет. Это не нужно.

В бричке всё было полно людей; сомневались о том, куда сядет Петр Ильич.

— Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? — кричала Наташа.

Соня не переставая хлопотала тоже; но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться, записывала их по желанию графини и старалась захватить с собой как можно больше.

Задания

☞ Почему Наташа задумалась, услышав объяснение отца с матерью по поводу его распоряжения забрать раненных?

☞ Какое состояние испытывают все участники этого эпизода (главы XV, XVI)?

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

XI

От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанною землею, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большего числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.

Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него, желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.

Два человека с края были бритые острожные. Один — высокий, худой; другой — черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик очень красивый, с окладистой русою бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.

Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять: по одному или по два? — По два, — холодно-спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтоб окончить необходимое, но неприятное и непо-стижимое дело.

Чиновник-француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников и прочел по-русски и по-французски приговор.

Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края.

Осторожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.

Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из-за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видеть того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами, и эти двое смотрели на всех, тцетно одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.

Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять, как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидел дым, чью-то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что-то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.

На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто же это делает, наконец? Они все страдают, так же, как и я. Кто же? Кто же?» — на секунду блеснуло в душе Пьера.

— *Tirailleurs du 86-me, en avant!*¹ — прокричал кто-то.

Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, — одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со всё возрастающим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он

¹ Стрелки 86-го вперед!

как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтоб его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.

Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одною босою ногой о другую.

Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, спокойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.

Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздалась выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слышал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились, и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все, очевидно-несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на всё тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четы-

ре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.

Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертвобледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, всё еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.

— *Ça leur apprendra à incendier*¹, — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидел, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.

XII

После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.

Перед вечером караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.

С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу

¹ Это научит их поджигать.

бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти.

Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.

— И вот, братцы мои... тот самый принц, *который* (с особенным ударением на слове *который*)... — говорил чей-то голос в противоположном углу балагана.

Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел перед собой то же страшное, в особенности страшное своею простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

Рядом с ним сидел согнувшись какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что-то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.

Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движениями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими

ми руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.

— А много вы нужды увидали, барин? А? — сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

— Э, соколик, не тужи, — сказал он с тою нежно-певучей лаской, с которою говорят старые русские бабы. — Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так-то, милый мой. А живем тут, слава Богу, обиды нет. Тоже люди и худые, и добрые есть, — сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то.

— Ишь, шельма, пришла! — услышал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. — Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. — И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что-то завернуто в тряпке.

— Вот, покушайте, барин, — сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. — В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!

Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

— Чтó ж, так-то? — улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. — А ты вот как. — Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

— Картошки важнеющие, — повторил он. — Ты покушай вот так-то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

— Нет, мне всё ничего, — сказал Пьер, — но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

— Тц, тц... — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то... — быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: — Чтó ж это, барин, вы так в Москве-то остались?

— Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, — сказал Пьер.

— Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?

— Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.

— Где суд, там и неправда, — вставил маленький человек.

— А ты давно здесь? — спросил Пьер, дожжевывая последнюю картошку.

— Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

— Ты кто же, солдат?

— Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

— Что ж, тебе скучно здесь? — спросил Пьер.

— Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, — прибавил он, видимо, с тем, чтоб облегчить Пьеру обращение к нему. — Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложет, а сам прежде того пропадает: так-то старички говаривали, — прибавил он быстро.

— Как, как это ты сказал? — спросил Пьер.

— Я-то? — спросил Каратаев. — Я говорю: не нашим умом, а Божьим судом, — сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: — Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики-родители живы? — спрашивал он и, хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки, в то время как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

— Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! — сказал он. — Ну, а детки есть? — продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: — Что ж, люди молодые, еще, даст Бог, будут. Только бы в совете жить...

— Да теперь всё равно, — невольно сказал Пьер.

— Эх, милый человек ты, — возразил Платон. — От сумы, да от тюрьмы никогда не отказывайся. — Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготавливаясь к длинному рассказу. — Так-то, друг мой любезный, жил я еще дома, — начал он. — Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики,

и наш дом, слава тебе богу. Сам-сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случись... — и Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. — Чтó ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали: горе, ая радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам-пят ребят, а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства Бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу — лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: — Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, всё больно. А кабы не Платона тогда забрали, Михайле бы идти. Позвал нас всех — веришь — поставил пред образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата, кланяйтесь. Поняли? — говорит. — Так-то, другой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. Так-то. — И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

— Чтó ж, я чай, спать хочешь? — сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

— Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос — помилуй и спаси нас! — заключил он, поклонился в землю, встал, вздохнул и сел на свою солому. — Вот так-то. Положи, Боже, камушком, подними калачиком, — проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

— Какую это ты молитву читал? — спросил Пьер.

— Ась? — проговорил Платон (он было уже заснул). — Читал чтó? Богу молился. А ты разве не молишься?

— Нет, и я молюсь, — сказал Пьер. — Но что ты говорил: Фрола и Лавра?

— А как же, — быстро отвечал Платон, — лошадиный праздник. И скота жалеть надо, — сказал Каратаев. — Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, — сказал он, ощутив собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и

темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новою красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе.

XIII

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выказывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и всё тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: «Положи, Господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил:

«Лег — свернулся, встал — встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он всё умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя всё напущенное на него чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.

— Солдат в отпуску — рубаха из порток, — говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большею частию неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными взятые отдельно и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтоб уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком — не с известным каким-нибудь

человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которую он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

❧ Задания ❧

❧ Какие переживания пришлось на долю Пьера в плену? Как изменились его взгляды на мир после расстрела французами русских за «поджигательство»?

❧ Как произошла встреча Пьера с Платоном Каратаевым и как тот подействовал на него (главы XI — XIII)?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов, без новых сражений, — есть одно из самых поучительных явлений истории.

Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов в их столкновениях между собой выражается войнами; что непосредственно, вследствие больших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.

Как ни странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и, вследствие того, покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одною сотой всех сил народа, заставило покориться народ, — все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что бóльшие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.

Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск, Австрия лишается своих прав и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии.

Но вдруг в 1812-м году французами одержана победа под Москвой, Москва взята, и вслед за тем без новых сражений не Россия перестала существовать, а перестала существовать шестисоттысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, — невозможно.

После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько-нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором

участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн...

Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом.

Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что всё в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам.

Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и всё бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его.

Представим себе двух людей, вышедших со шпагами на поединок по всем правилам фехтовального искусства: фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг, один из противников, почувствовав себя раненым, поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что человек, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка!

Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить всё по правилам фехтования, — историки, которые писали об этом событии.

Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение горо-

дов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, перемка транспортов, партизанская война — всё это были отступления от правил.

Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтования остановился в Москве и, вместо шпаги противника, увидел поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существовали какие-то правила для того, чтоб убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что высшим по положению русским людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию *en quarte* или *en tierce*, сделать искусное выпадение в *prime*¹ и т. д., — дубина народной войны поднялась со всей своею грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие.

И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.

III

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде, чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало францу-

¹ четвертую, третью, первую. — (Примеч. ред.)

зов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

24-го августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова и, вслед за его отрядом, стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем больше увеличивалось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева — французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был начальником партии дячок, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами и, не расседывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, — уже прошел. Теперь уже война эта определилась, всем стало ясно, что можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по правилам, ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лавившие между французами, считали, что теперь уже всё было возможно.

22-го октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он с своею партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову (тоже партизану с небольшою партией), ходившему близко от Денисова, но и на-

чальникам больших отрядов с штабами: все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников — один поляк, другой немец — почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться, каждый к своему отряду, с тем, чтобы напасть на транспорт.

— Нет, брат, я сам с усами, — сказал Денисов прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца.

Распорядившись таким образом, Денисов намеревался, без донесения о том высшим начальникам, вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим-то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две, ставшие в грязи, фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу (в версте от Шамшева), на рассвете пасть с двух сторон, как снег на голову, и побить и забрать всех разом.

Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено шесть казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов.

Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось тысяча пятьсот человек. У Денисова было двести человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска; и для этой

цели Денисову нужно было взять языка (то есть человека из неприятельской колонны). В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такою поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчишку барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне.

Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатого захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартиреров.

IV

Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь.

На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он так же, как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густою, короткою, черною бородой лицо его казалось сердито.

Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом, крупном донце ехал казачий эсаул — сотрудник Денисова.

Эсаул Ловайский — третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими, светлыми глазками и спокойно-самодовольным выражением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро, и неловко, — что Денисов человек, который сел на лошадь; тогда как, глядя на эсаула, видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек, составляющий вместе с лошадыю одно увеличенное двойною силою существо.

Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок проводник, в сером кафтане и белом колпаке.

Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и гривой и с подранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей, французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпа-

ке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик.

Сзади по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной лесной дороге тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинута на голову. Лошади, и рыжие и гнедые, все казались воронными от струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив. От лошадей поднимался пар. И одежды, и седла, и поводья — всё было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь не шевелиться, чтоб отогреть ту воду, которая пролилась до тела, и не пропускать новую — холодную, подтекавшую под сиденья, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги.

Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толкнула его коленкой о дерево.

— Э, черт! — злобно вскрикнул Денисов и, оскалив зубы, плетью раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе: и от дождя, и от голода (с утра никто ничего не ел), и главное — от того, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался.

«Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче, напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня — из-под носа захватит добычу кто-нибудь из больших партизанов», — думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидеть ожидаемого посланного от Долохова.

Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.

— Едет кто-то, — сказал он.

Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым.

— Едут двое — офицер и казак. Только не *предположительно*, чтобы был сам подполковник, — сказал эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова.

Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым

галопом, погоняя нагайкой, ехал офицер — растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стремянах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким, румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер, — извините, что не совсем сухо...

Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.

— Вот говорили всё, что опасно, опасно, — сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. — Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два писто... А это что ж? — спросил он, увидав французского барабанщика, — пленный? Вы уже в сраженьи были? Можно с ним поговорить?

— Ростов! Петя! — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. — Да как же ты не сказал, кто ты? — И Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.

Офицер этот был Петя Ростов.

Во всю дорогу Петя приговаривался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.

— Ну, я рад тебя видеть, — перебил его Денисов, и лицо его приняло опять озабоченное выражение.

— Михаил Феоклитыч, — обратился он к эсаулу, — ведь это опять от немца. Он при нем состоит. — И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала немца присоединиться для нападения на транспорт. — Ежели мы его завтра не возьмем, он у нас из-под носа вырвет, — заключил он.

В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя, сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, под шинелью поправлял так, чтобы никто этого не заметил, взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.

— Будет какое приказание от вашего высокоблагородия? — сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и

опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, — или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?

— Приказания?.. — задумчиво сказал Денисов. — Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?

— Ах, пожалуйста... Можно мне при вас остаться? — вскрикнул Петя.

— Да как тебе именно велено от генерала — сейчас вернуться? — спросил Денисов. Петя покраснел.

— Да он ничего не велел. Я думаю, можно? — сказал он вопросительно.

— Ну, ладно, — сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжение о том, чтобы партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха и чтобы офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходявшей к Шамшеву, с тем чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.

— Ну, борода, — обратился он к мужику проводнику, — веди к Шамшеву.

Денисов, Петя и эсаул, сопровождаемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг, к опушке леса.

V

Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая по корням и мокрым листьям своими вывернутыми ногами в лаптях, вел их к опушке леса.

Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах саженьях

расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.

— Пленного дайте сюда, — негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов.

Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать всё, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к эсаулу, сообщая ему свои соображения.

Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-нибудь важного.

— Придет, не придет Долохов, надо брать!.. А? — сказал Денисов, весело блеснув глазами.

— Место удобное, — сказал эсаул.

— Пехоту низом пошлем — болотами, — продолжал Денисов, — они подлезут к саду; вы заедете с казаками оттуда, — Денисов указал на лес за деревней, — а я отсюда с своими гусарами. И по выстрелу...

— Ложиной нельзя будет, — трясина, — сказал эсаул. — Коней увязишь, надо объезжать полее...

В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу, в ложине от пруда, щелкнул один выстрел, другой, забелелся дымок и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов, и эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы.

— Ведь это Тихон наш, — сказал эсаул.

— Он! он и есть!

— Эка шельма, — сказал Денисов.

— Уйдет! — щуря глаза, сказал эсаул.

Человек, которого они называли Тихоном, подбежал к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на мгновение, выбрался на четвереньках, весь черный от воды, и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.

— Ну, ловок, — сказал эсаул.

— Экая bestия! — с тем же выражением досады проговорил Денисов. — И что он делал до сих пор?

— Это кто? — спросил Петя.

— Это наш пластун. Я его посылал языка взять.

— Ах, да, — сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он всё понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.

Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда, при начале своих действий, Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов, и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что *миродеры* бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. *Миродеров* точно десятка два побили, а то мы худого не делали... — На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтоб его при ней оставили. Денисов велел оставить его.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.

Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково

легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно, со всего размаха, раскалывал топором бревно и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое — выворотить плечом из грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день пятьдесят верст, — все указывали, посмеиваясь, на Тихона.

— Что ему, черту, делается, меренина здоровенный, — говорили про него.

Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренне и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде, и шуток, которым охотно поддавался Тихон.

— Чтó, брат, не будешь? Али скрючило? — смеялись ему казаки, и Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бранил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных.

Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь еще, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но, или потому что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов, и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.

VI

Поговорив еще несколько времени с эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад.

— Ну, брат, теперь поедem обсушимся, — сказал он Пете.

Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу, между деревьев, большими легкими шагами шел на длинных ногах, с длинными мотающимися ру-

ками человек в куртке, лаптях и казанской шляпе с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он высоко поднял голову и, как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.

— Ну где пропадал? — сказал Денисов.

— Где пропадал? За французами ходил, — смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.

— Зачем же ты днем полез? Скотина! Ну, что ж не взял?..

— Взять-то взял, — сказал Тихон.

— Где ж он?

— Да я его взял сперва-наперво на зорьке еще, — продолжал Тихон, переставляя пошире плоские вывернутые ноги в лаптях, — да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю: дай схожу, другого поаккуратнее какого возьму.

— Ишь шельма, так и есть, — сказал Денисов эсаулу. — Зачем же ты этого не привел?

— Да что ж его водить-то, — сердито и поспешно перебил Тихон, — не гожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?

— Эка bestия!.. Ну?..

— Пошел за другим, — продолжал Тихон, — подполз я таким манером в лес, да и лег. — Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. — Один и навернись, — продолжал он. — Я его таким манером и сгрэб. — Тихон быстро и легко вскочил. — Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит. А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором: что вы, мол, Христос с вами, — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставя грудь.

— То-то мы с горы видели, как ты стречка задавал, через лужи-то, — сказал эсаул, суживая свои блестящие глаза.

Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо эсаула и Денисова, не понимая, что всё это значило.

— Ты дурака-то не представляй, — сказал Денисов, сердито покашливая. — Зачем первого не привел?

Тихон стал чесать одною рукой спину, другою голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба (за что он и прозван Щербатый).

Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.

— Да что, совсем несправный, — сказал Тихон. — Одежонка плохенькая на нем, куда же его водить-то. Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын, не пойду, говорит.

— Экая скотина! — сказал Денисов. — Мне расспросить надо...

— Да я его спрашивал, — сказал Тихон. — Он говорит: плохо *зна́ком*. Наших, говорит, и много, да всё плохие; только, говорит, одна названия. Ахнете, говорит, хорошенько, всех заберете, — заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова.

— Вот я те всыплю сотню горячих, ты и будешь дурака-то корчить, — сказал Денисов строго.

— Да что же сердать-то, — сказал Тихон, — что ж, я не видал французов ваших? Вот дай позатемяет, я тебе каких хошь, хоть троих приведу.

— Ну, поедем, — сказал Денисов. И до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча.

Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст.

Когда прошел смех, овладевший им при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновение, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновение. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился.

Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны всё благополучно.

Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю.

— Ну, расскажи ты мне про себя, — сказал он.

XI

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки,

отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробежал по спине и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало.

— Ну, готово у вас всё? — сказал Денисов. — Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

— Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста... ради Бога... — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

— Об одном тебя прошу, — сказал он строго, — слушаться меня и никуда не соваться.

Во всё время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле всё усиливалась. Становилось всё светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

— Сигнал! — проговорил он.

Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подсккал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди

какие-то люди, — должно быть, это были французы, — бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскочил к этой толпе, и первое, что он увидел, было бледное с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пик.

— Ура!.. Ребята... наши... — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскочил, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидел Долохова, с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» — кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.

— Подождать?.. Ураааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и всё дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задержались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Братья не будем! — крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

❧ Задание ❧

Кого писатель называет «самым полезным и храбрым человеком» в партии? Как выражено авторское отношение к нему?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ХП

Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел.

Всё, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и, главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то

время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. В тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Всё это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое-нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать всё то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы, — Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.

Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев, и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя всё в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.

Радостное чувство свободы — той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешнею свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Всё, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.

— Ах, как хорошо! Как славно! — говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. — Ах, как хорошо, как славно!

И по старой привычке он делал себе вопрос: «Ну, а потом что? что я буду делать?» И тотчас же он отвечал себе: «Ничего. Буду жить. Ах, как славно!»

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цель жизни — теперь для него не существовала. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него, не в настоящую только минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством, то, что ему давно уж говорила нянюшка: что Бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.

Он не умел прежде видеть великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в туманной дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представилась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своею слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? — теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос — зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть Бог, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.

Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем-то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего-то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметною, как будто насмешливою, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя, очевидно, видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям — вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.

Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанною Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью показывала ему затаенные добрые стороны своего характера.

Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем

вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, сухой, и по-своему гордой, княжне человеческие чувства.

— Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, — говорила себе княжна.

Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по-своему и его слугами — Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.

— Ну, так скажи мне... да как же вы доставали себе еду? — спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.

Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обыкновению докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.

— Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас в провинции, — говорил он.

В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого, итальянского офицера.

Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.

Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать, и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь, и изливать ему свое негодование на французов и в особенности на Наполеона.

— Ежели все русские хотя немного похожи на вас, — говорил он Пьеру, — *c'est un sacrilège que de faire la guerre à un peuple comme le vôtre*¹. Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.

¹ Это кощунство — воевать с таким народом, как вы.

И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.

Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон граф Вилларский, тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.

Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.

Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.

— Vous vous encroutez, mon cher¹, — говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.

Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своею теперь постоянно тихую, радостною насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.

В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности для каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда со-

¹ Вы запускаетесь, мой милый.

вершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.

В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоумения. «Дать или не дать? — спрашивал он себя. — У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было, что давать. Точно в таком же недоумении он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой — иначе.

Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким-то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.

Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтоб, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.

В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменившихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главноуправляющего, около двух миллионов.

Главноуправляющий в утешение этих потерь представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не

может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.

— Да, да, это правда, — сказал Пьер, весело улыбаясь. — Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.

Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был не верен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.

Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.

Пьер испытывал во всё время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он всё время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне — все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу на этом пространстве поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

❧ Задание ❧

~ Как стал Пьер глядеть на жизнь после возвращения из плена? В чем теперь заключалось для него счастье?

ЭПИЛОГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Х

Наташа вышла замуж раннею весною 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем), и очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее разившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде.

Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила ли она или нет; ей даже казалось, что нет), но она, нося, рождая и кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необыкновенному. Одна старая графиня, материнским чутьем понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа (как она, не столько шутя, сколько всерьез, кричала в Отрадном), — одна мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерно женой и матерью.

— Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, — говорила графиня, — так что это даже глупо.

Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедываемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своею внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарования, из которых у ней было одно необычайно сильное — пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарование. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показаться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своего требовательностью. Она делала всё противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт научал ее употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся — то есть всею душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекли его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с телом.

Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы для того, чтобы привлечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольною. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, может быть, это и было бы приятно ей, — она не знала, — но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.

Известно, что человек имеет способность погружаться весь в один предмет, как бы он ни казался ничтожным. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности.

Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтоб он нераздельно принадлежал ей, дому, и дети, которых надо было носить, рожать, кормить и воспитывать.

И чем больше она вникала, не умом, а всею душой, всем существом своим, в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала

на одно и то же, и всё-таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно.

Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, *вопросами*, были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.

Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не всё его значение, состоящее в семье.

Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствия от обеда, не существовали тогда, как не существуют и теперь для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества — семья.

Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком.

Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи.

Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака — семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить, и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если б было другое.

Наташа не любила общества вообще, но она тем более дорожила обществом родных — графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше.

Наташа до такой степени опустила, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность — она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине — были обычным предметом шуток всех ее

близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.

Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы, на обеды, *так*, для того, чтобы провести время, не смел расходовать деньги для прихотей, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собою, как он хотел, но и всею семьей. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался — читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, и то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, и Наташа вскакивала и бежала исполнять его.

Весь дом руководился только мнимыми повелениями мужа, то есть желаниями Пьера, которые Наташа старалась угадывать. Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей — не только всё делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. И она верно угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и, раз угадав ее, она уже твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему желанию, она боролась против него его же оружием.

Так в тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, Наташе, после родов первого слабого ребенка, когда им пришлось переменить трех кормилиц и Наташа заболела от отчаяния, Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилиц. С следующим ребенком, несмотря на противодействие матери, докторов и самого мужа, восставших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем и с тех пор всех детей кормила сама.

Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили, но долго потом после спора Пьер к радости

и удивлению своему находил не только в словах, но и в действиях жены ту самую свою мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенную от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в ее выражении.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал всё хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо: всё не совсем хорошее было откинуто. И отражение это происходило не путем логической мысли, а другим таинственным, непосредственным путем.

XIV

Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перцеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз.

— Non, m-r Dessales, je demanderai à ma tante de rester¹, — отвечал также шепотом Николинька Болконский.

— Ma tante, позвольте мне остаться, — сказал Николинька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.

— Когда вы тут, он оторваться не может... — сказала она ему.

— Je vous le ramènerai tout-à-l'heure, m-r Dessales; bonsoir², — сказал Пьер, подавая швейцарцу руку, и, улыбаясь, обратился к Николиньке. — Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится, — прибавил он, обращаясь к графине Марье.

— На отца? — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными, блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве; Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа. Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик, с своими блестящими гла-

¹ Нет, мосье Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться.

² Я сейчас приведу вам его, мосье Десаль; покойной ночи.

зами, сидел никем не замечаемый в уголку, и, только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо испытывая какое-то новое и сильное чувство.

Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера.

— Прежде немцем надо было быть, теперь надо плясать с Татариновой и m-me Крюднер, читать... Экарстгаузена и братию. Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапарта! Он бы всю дурь повыбил. Ну на что похоже солдату Шварцу дать Семеновский полк? — кричал он.

Николай, хотя без того желания находить всё дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А. назначен министром того-то, а что Б. генерал-губернатором туда-то, и что государь сказал то-то, а министр то-то, что всё это дела очень значительные. И он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших правительственных сфер.

Но Наташа, зная все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург советоваться с новым другом своим князем Федором, и она помогла ему вопросом: что же его дело с князем Федором?

— О чем это? — спросил Николай.

— Всё о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. — Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.

— Что ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай, — что же можно сделать?

— А вот что...

— Пойдемте в кабинет, — сказал Николай.

Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услышала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья

пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николинька Болконский, незамеченный дядей, пришел туда же и сел в тени, к окну, у письменного стола.

— Ну что ж ты сделаешь? — сказал Денисов.

— Вечно фантазии, — сказал Николай.

— Вот что, — начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как говорил: — Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди *sans foi ni loi*¹, которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев и *tutti quanti*...² Ты согласен, что ежели бы ты сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели, — обратился он к Николаю.

— Ну, да к чему ты это говоришь? — сказал Николай.

— Ну, и всё гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как всегда, взглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, говорят люди с тех пор, как существует правительство). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете, кому, — сказал Пьер, значительно взглядывая исподлобья, — князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности, всё это хорошо, разумеется. Цель прекрасная и всё; но в настоящих обстоятельствах надо другое.

В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.

— Зачем ты здесь?

— Отчего? Оставь его, — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: — этого мало, я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Всё молодое, сильное притягивается туда и разворачивается. Одного соблазняют жен-

¹ без совести и чести.

² и тому подобные... (итал.) — (Примеч. ред.)

щины, другого почести, третьего тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю: расширьте круг общества; *mot d'ordre*¹ — пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и всё больше и больше хмурился.

— Да с какою же целью деятельность? — вскрикнул он. — И в какие отношения станете вы к правительству?

— Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел резать и моих и твоих детей и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого беремся рука с рукой, с одною целью общего блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество, следовательно враждебное и вредное, которое может породить только зло.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели: это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедывал Христос...

Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что всё это было чрезвычайно просто и что она всё это давно знала (ей казалось это потому, что она знала всё то, из чего это выходило — всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру.

Еще более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик, с тонкою шеей, выходившею из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал, сам не замечая этого, попадавшие ему в руки сургучи и перья на столе дяди.

— Совсем не то, что ты думаешь, а вот что такое было немецкий тугендбунд и тот, который я предлагаю.

¹ Лозунг.

— Ну, брат, это колбасникам хорошо тугендбунд, а я этого не понимаю, да и не выговорю, — послышался громкий, решительный голос Денисова. — Всё скверно и мерзко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нравится — так бунт, вот это так! Je suis vot'e homme!¹

Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и, так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.

— Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая и нервными движениями уставляя в угол трубку и наконец бросив ее. — Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас всё скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший друг мой, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь.

После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая.

Когда все поднялись к ужину, Николинька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.

— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами? — спросил он.

Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора и, вспомнив всё, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал он неохотно и вышел из кабинета.

¹ Тогда я ваш!

Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю.

— Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно, — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья.

Николай сердито вздрогнул.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо, с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него.

— Тебе вовсе тут и быть не следовало, — сказал он.

❧ Задания ❧

❧ Какой изображена Наташа в эпилоге романа? Изменилась ли она только внешне или внутренне тоже (главы X и XI)?

❧ Каков в эпилоге Пьер? К какой жизненной мудрости пришел он после всех испытаний? Что было следствием этого? Каким предстает в эпилоге Николенька Болконский (главы XIV и XVI)?

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Джордж Ноэл Гордон

БАЙРОН

(1788—1824)

Герой самой известной поэмы Байрона «Корсар» (1812—1814) — Конрад — мстит обществу, выбирая весьма опасный способ: он становится пиратом. Конрад, как и другие герои байроновских произведений, прошел «школу разочарования»: от природы доверчивый и добрый, он был оклеветан и отвергнут, и теперь мстит миру. Автор не объясняет, почему его герой стал мизантропом¹, его подлинной истории не знает никто, но сказано, что «безумно ненавидел он людей». Но безграничность этой негативной страсти при отсутствии ее логического объяснения и есть проявление байронизма. Конрад бежал от мира, взял новое имя — Корсар и стал предводителем пиратов.

В поэме описывается драматический эпизод из современной жизни Корсара. Немногочисленный пиратский отряд получил известие о прибытии к Сеид-паше богатых кораблей. Это могла быть ловушка, чтобы заманить пиратов в порт и расправиться с ними. Пренебрегающий опасностью Корсар задумал перехитрить Сеид-пашу. Он переоделся дервишем² и явился во дворец как беглый пленный. Он должен был, усыпив бдительность Сеида рассказом о слабости пиратов, от которых он якобы легко сбежал, подать условный сигнал, по которому пираты станут поджигать корабли паши и начнут атаку.

Пираты не дождались условного сигнала и подожгли корабли раньше времени. В Конраде обнаружили пирата, и он оказался один среди врагов. Огонь из порта перекинулся на дворец, где загорелись гаремные покои. Подоспевший отряд пиратов спасает из огня женщин. Сам Корсар спасает Гюльнар, любимую наложницу Сеид-паши. Время упущено, отряд окружен. Пираты гибнут, Корсар пленен. Гюльнар, полюбившая Корсара, спасает его из плена. Она подкупает стражу и убивает Сеида. Корсар

¹ *Мизантроп* — человеконенавистник, нелюдим.

² *Дервиш* — мусульманский нищенствующий монах.

не может ответить на любовь Гюльнар — все его мысли о Медоре, умершей от горя, не дождавшись Конрада, обещавшего вернуться через три дня. Конрад не может перенести утраты последнего, что было у него, — любви Медоры. Концовка поэмы романтична, судьба Корсара неизвестна: его «пропал и след».

КОРСАР

ПОВЕСТЬ

(ФРАГМЕНТЫ)

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

I

«Наш вольный дух вьет вольный свой полет
Над радостною ширью синих вод:
Везде, где ветры пенный вал ведут, —
Владенья наши, дом наш и приют.
Вот наше царство, нет ему границ;
Наш флаг — наш скипетр — всех склоняет ниц.
Досуг и труд, сменяясь в буйстве дней,
Нас одаряют радостью своей.
О, кто поймет? Не раб ли жалких нег,
Кто весь дрожит, волны завидя бег?
Не паразит ли, чей развратный дух
Покоюм сыт и к зову счастья глух?
Кто, кроме смелых, чья душа поет
И сердце пляшет над простором вод,
Поймет восторг и пьяный пульс бродяг,
Что без дорог несут в морях свой флаг?
То чувство ищет схватки и борьбы:
Нам — упоенье, где дрожат рабы;
Нам любо там, где трус, полуживой,
Теряет ум, и чудной полнотой
Тогда живут в нас тело и душа,
Надеждою и мужеством дыша.
Что смерть? покой, хоть глубже сон и мрак,
Она ль страшна, коль рядом гибнет враг?
Готовы к ней, *жизнь жизни* мы берем,
А смерть одна — в болезни ль, под мечом;
Пусть ползают привыкшие страдать,
Из года в год цепляясь за кровать;
Полумертва, пусть никнет голова;

Наш смертный одр — зеленая трава;
За вздохом вздох пусть гаснет жизнь у них;
У нас — удар, и нету мук земных;
Пусть гордость мертвых — роскошь урн и плит,
Пусть клеветник надгробья золотит,
А нас почитит слезою дружный стан,
Наш саван — волны, гроб наш — океан;
А на попойке память воздана
Нам будет кружкой красного вина;
Друзья, победой кончив абордаж,
Деля добычу, вспомнят облик наш
И скажут, с тенью хмурою у глаз:
«Как бы убитый ликовал сейчас!»

II

Так на Пиратском острове, средь скал,
Когда костер бивачный полыхал,
Гремела речь о доле удальца,
Ложась как песня в грубые сердца!
Рассыпавшись по золоту песка,
Кто пел, кто пил, кто кровь счищал с клинка.
Достав из общей груды свой кинжал,
И, видя кровь, никто не задрожал.
Те руль строгаля, те чинили бот;
Иной бродил задумчиво у вод;
Иные птицам ставили силос
Иль мокрый невод стлали на припек;
Кто с алчным взором на море глядел,
Где, показалось, парус забелел;
Те — о былых вели победах речь
Или гадали в жажде новых встреч;
Но что гадать? Всё — дело вожака,
Всё им укажет властная рука.
Но кто вожак? прославленный пират, —
О нем везде со страхом говорят.
Он чужд им, он повелевать привык;
Речь коротка, но грозен взор и лик;
И на пирах его не слышен смех,
Но всё ему прощают за успех;
Вином он кубок не наполнит свой
И не разделит чаши круговой;
Его еда — кто всех грубей, и тот
Ее с негодованьем оттолкнет:

Лишь черный хлеб, да горстка овощей,
Да изредка — дар солнечных лучей —
Плоды, вот весь его убогий стол,
Что и монах бы за беду почел.
Но, от усад животных далека,
Суровостью душа его крепка:
«Правь к берегу». — Готово. — «Сделай так». —
Есть. — «Все за мной». — И разом сломлен враг.
Вот быстрота и слов его и дел;
Покорны все, а кто спросить посмел —
Два слова и презренья полный взгляд
Отважного надолго усмирят.

III

«Корабли! Корабли!» Надежды светлый знак.
В трубу глядят — откуда он? Чей флаг?
Нет, не добыча! Все ж ему привет:
То наш корабль; гляди: на мачту вздет
Кровавый флаг. Дуй крепче, аквилон,
И до заката бросит якорь он.

<...>

Он по волнам несется как живой
И все стихии звать готов на бой.
Кто б не презрел свист пуль и штормов бег,
Чтоб капитаном встать на людный дек?

VI

«Где атаман? Мы с рапортом к нему, —
И встрече нашей, видно по всему,
Недолгой быть, как вы ни рады нам.
Веди, Жуан, к начальнику, а там,
Покончив, мы попойку заведем
И вам расскажем все и обо всем».
Ползут пираты по уступам скал,
На мыс, где стан дозорной башни встал;
Там заросли, там дикие цветы,
Там свежий ключ, спадая с высоты
Серебряной струею на гранит,
Встречает жизнь и путников поит.
Они ползут... Кто близ пещеры той
Стоит, один, глядя в простор пустой,
Склонясь на меч, задумчив и далек?

Как посох пастуха, всегда клинок
В его руке... «То Конрад! Как всегда —
Один. Жуан, скажи, что мы сюда
Пришли. Он видел бриг. Скажи, что есть
У нас безотлагательная весть.
Самим нам страшно, — знаешь, как он лют,
Когда внезапно мысль его спугнут».

<...>

VIII

Безропотно они спешат, опять
Морскую ширь готовы рассекать.
Покорны все: сам Конрад их ведет.
И кто судить его приказ дерзнет?
Загадочен и вечно одинок,
Казалось, улыбаться он не мог;
При имени его у храбреца
Бледнели краски смуглого лица;
Он знал *искусство власти*, что толпой
Всегда владеет, робкой и слепой.
Постиг он приказаний волшебство,
И, с завистью, все слушают его.
Что верностью спаяло их, — реши!
Величье Мысли, магия Души!
Затем успех, которым он умел
Всех ослепить, и обаянье дел
Отчаянных, что слабым он сердцам
Тайком внушал, стяжая славу сам.
Всегда так было, будет так всегда:
Лишь одному плод общего труда!
Закон природы! Но пускай илот
Простит тому, кому достался плод:
О, знай он гнет блистательных цепей,
Он с долей примирился бы своей!

Перевод Г. Шенгели

❧ Задания ❧

- ❧ Назовите отличительные черты пейзажа, описанного в начале поэмы.
- ❧ Каким предстает предводитель пиратов в первой песне?
- ❧ Похож ли Конрад на других пиратов? Что привлекает его в пиратстве: слава, добыча, власть?
- ❧ Почему Конрад стал пиратом, что мы узнаем о его прошлом?
- ❧ Какое «искусство власти» постиг Конрад? Как он управляет пиратами?

Эрнст Теодор Амадей

ГОФМАН

(1776—1822)

Сказка «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» написана в 1819 году. В ней Гофман рассказывает читателю историю удивительного превращения уродца Цахеса во всемогущего правителя одного из карликовых немецких княжеств, повествует о судьбе студента Бальтазара, ревностно охраняющего сказочный мир природы и поэзии от вторжения пошлости и обыденности. В «Крошке Цахесе» Гофман сумел показать, какую опасность несет в себе неограниченная власть, порождающая массовый психоз, чинопочитание, паралич здравого смысла.

Фея Розабельверде в отместку людям, которые перестали верить в чудеса, посмеялась над ними. Она наградила деревенского уродца малыша Цахеса тремя золотыми волосками. Блеск золота затмил людям глаза, и они перестали видеть реального Цахеса — уродливого злобного карлика. Он представлялся им красавцем, умницей, ему приписывали чужие успехи. Он получил должность тайного советника по особым делам, министра — и почти никто не видел, что он недостоин таких почестей!

Этого общего безумия избежали только несколько человек — студент Бальтазар, доктор Проспер Альпанус, музыкант Сбюкка, молодой чиновник Пульхер.

А помогает им избежать чар Циннобера талант, вера в многообразие жизни. Они — «счастливы, одаренные внутренней музыкой». Страшному миру Цахеса противопоставлен мир искусства и любви, воплощением которого становится поэт Бальтазар. Именно он пренебрегает мнением двора и, ведомый любовью к Кандиде, разоблачает Циннобера во время обручения. Все негодуют, видя мерзкого уродца, играют им, как мячом. Цахес погибает нелепой смертью — он тонет в туалетном кувшине. Но правы ли люди, боготворившие Цахеса, а теперь презирующие его? Такая концовка сказки иронична и заставляет задуматься.

КРОШКА ЦАХЕС, ПО ПРОЗВАНИЮ ЦИННОБЕР

(ФРАГМЕНТЫ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маленький оборотень. — Великая опасность, грозившая пасторскому носу. — Как князь Пафнутий насаждал в своей стране просвещение, а фея Разабельверде попала в приют для благородных девиц.

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги, на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборванная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем изнемогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой доверху хворостом, который она с трудом насобираала в лесу, и так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми была привязана к ее спине корзина, и медленно перетащила на ближайшую лужайку. Тут принялась она громко сетовать.

— Неужто, — жаловалась она, — неужто только я да бедняга муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод? Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле золотые монеты, мы и впрямь возомнили, что счастье наконец-то завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло? Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле градом побило, и — дабы мера нашего горя была исполнена — Бог наказал нас этим крохотным оборотнем, что родила я на стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия малому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, только мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет, окаянный уродец, словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему ничуть впрок нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! — И тут несчастная принялась плакать и стенать

до тех пор, пока горе не одолело ее совсем, и она, обессилив, заснула.

Бедная женщина по справедливости могла сетовать на мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад. То, что с первого взгляда можно было вполне принять за диковинный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый, не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек корзины... Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал нарост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, вглядевшись попристальнее, можно было приметить нос, длинный и острый, выдававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие черные искрящиеся глазенки, — что вместе с морщинистыми, старческими чертами лица, казалось, обличало маленького альбауна.

И вот, когда, как сказано, измученная горем женщина погрузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случилось, что фройляйн фон Розеншён — канониса близлежащего приюта для благородных девиц — возвращалась той дорогой с прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и сострадательна.

— Праведное Небо, — воскликнула она, — сколько нужды и горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она чуть жива, ибо работает свыше сил; голод и забота подкосили ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах, когда б могла я помочь так, как хотела! <...> Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а, быть может, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того золото уплывает из кармана, он и сам не знает как. Оно причиняет ему только новые горести, и чем больше перепадет ему, тем беднее он становится. Но я знаю — больше, чем всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчишка никогда не станет, но, быть может, ему удастся помочь иным образом.

Тут фройляйн опустила на траву и взяла малыша на колени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил укусить фройляйн за палец, но она сказала:

— Успокойся, успокойся, майский жучок! — и стала тихо и нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к затылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгладились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и, наконец, крепко уснул. Тогда фройляйн Розеншён осторожно положила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась.

Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудесным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.

— Эге, — воскликнула она, — сколько отрады и бодрости принес мне короткий сон. Однако солнце на закате — пора домой! — Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула руками от изумления и воскликнула:

— Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расчесал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти локоны, когда бы ты не был таким мерзким уродом. Ну поди сюда, поди — лезь в корзину. — Она хотела схватить его и положить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма внятно промяукал:

— Мне неохота!

— Цахес, крошка Цахес! — не помня себя закричала женщина. — Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так хорошо причесан, так славно говоришь, ты уж, верно, можешь и бегать? — Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вцепился в ее передник, и так они пошли в деревню.

Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, пригожим, золотокудым трехлетним мальчуганом. Завидев женщину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, повисшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:

— Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали напиток!

Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться по-

чтенному господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Цахес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно наклонился, поднял малыша и сказал:

— Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький, пригожий мальчик. Поистине это благословение Божие, кому ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! — И, взяв малыша на руки, стал ласкать его, казалось вовсе не замечая, что злонаправный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится укусить достопочтенного господина за нос. Фрау Лиза, совершенно озадаченная, стояла перед священником, таращила на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и подумать.

— Ах, дорогой господин пастор, — наконец завела она плаксивым голосом, — вам, служителю Бoga, грех насмехаться над бедной женщиной, которую неведомо за что покарала небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.

— Что за вздор, — со всею серьезностью возразил священник, — что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! «Насмехаться», «оборотень», «кара небесная»! Я совсем не понимаю вас и знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня, послушный мальчик! — Пастор ласкал малыша, но Цахес ворчал: «Мне неохота!» — и опять норовил ухватить его за нос.

— Вот злая тварь! — вскричала с перепугу фрау Лиза.

Но в тот же миг заговорил сын пастора:

— Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми, что, верно, все они тебя сердечно любят!

— Послушайте только, — воскликнул пастор, засверкав глазами от радости, — послушайте только, фрау Лиза, этого прелестного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так нелюб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им довольны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза, отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение и воспитание. При вашей тяжелой бедности он вам только обуза, а мне будет в радость воспитать его как своего родного сына!

Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все восклицала:

— Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шутите и хотите взять к себе маленького уроды, воспитать его и избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборотень?

Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное безобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила столь драгоценного дара, благословения Небес, ниспославших ей дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с крошкой Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.

Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пасторского дома и не знала, что обо всем этом и думать. «Что же это, господи, — рассуждала она сама с собой, — стряслось с нашим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился крошка Цахес, и он принимает этого глупого карапуза за красивого и разумного мальчика? Ну да поможет Бог доброму господину, он снял бремя с моих плеч; и взвалил его на себя, пусть поглядит, каково-то его нести! Эге, как легка стала корзина, с тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним — и тяжкая забота!»

И тут фрау Лиза, взвалив на спину корзину, весело и беспечально пошла своим путем.

Что же касается канонисы фон Розеншён, или, как она еще называла себя, Розенгрюншён, то ты, благосклонный читатель, — когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени о том помолчать, — все ж догадался, что тут было сокрыто какое-то особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел крошку Цахеса красивым и умным и принял как родного сына, объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы. Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую прозорливость, ты все же можешь запутаться в ложных предположениях или, к великому ущербу для нашего повествования, перескочить через множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таинственной канонисе; поэтому уж лучше я сам без промедления расскажу тебе все, что знаю о достойной даме.

Фройляйн фон Розеншён была высокого роста, отличалась благородной, величественной осанкой и несколько горделивой властью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению, устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же производило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следовало прежде всего приписать необычной, странной складке между бровей, относительно чего толком неизвестно, дозвоительно ли канонисам носить на челе нечто подобное;

но притом часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и благоволение, что каждый чувствовал себя во власти сладостного, непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внешности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита, и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом устраситься ее дивной красоты, которая очень скоро могла исчезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уверяли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь. По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размышлению, повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно обнаруживалось родство фройляйн Розеншён с цветами, имя коих она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой-нибудь иссохший, колючий прутик, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фройляйн громко беседует с какими-то чудесными голосами, верно, исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, невиданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкающими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фройляйн фон Розеншён поступила в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то, что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншён в «Книге турниров» Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление

в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать два предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах просил ее, заклиная Небом, по крайности называть себя не Розенгрюншён, а Розеншён, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка. Она согласилась ему в угоду. Быть может, задетый за живое Претекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фройляйн в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обинуясь, уверяла, что всякий раз, когда фройляйн, высунувшись из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное: Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фройляйн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фройляйн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насылать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в рассказах пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фройляйн носилась по воздуху на помеле, а впереди нее летел преогромный жук и синее пламя полыхало меж его рогов!

И вот все пришло в волнение, все ополчилось на ведьму, а деревенский суд порешил ни много ни мало как выманить фройляйн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: «Так-то вот и бывает с лишенными предков простыми людьми, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Мондшейны». Фройляйн, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные девицы из дворянского приюта, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного на-

казания, объявить, чтобы они не смели думать о фройляйн Розеншён ничего дурного. Они образумились, утрастились грозящего наказания и впредь стали думать о фройляйн только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон — как для деревни, так и для фройляйн Розеншён.

Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон Розеншён не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь свет фея Розабельверде. Дело обстоило следующим образом.

Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее того маленького княжества, где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейна и где обитала фройляйн фон Розеншён, одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз собираюсь поведать тебе более пространно.

Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее зелеными благоуханными рощами, цветущими лугами, шумливыми потоками и весело журчащими родниками, уподоблялась — а особливо потому, что в ней вовсе не было городов, а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки, — дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогуливались в нем для собственной утехы, не ведая о тягостном бремене жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий климат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там поселились и прекрасные феи доброго нрава, которые, как известно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и можно приписать, что почти в каждой деревне, а особливо в лесах частенько совершались приятнейшие чудеса и что всякий, плененный восторгом и блаженством, непоколебимо верил во все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джиннистане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему наследствовал юный Пафнутий. Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил править и тотчас

по вступлении на престол поставил первым министром государства своего камердинера Андреса, который, когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой беды.

— Я хочу править, любезный! — крикнул ему Пафнутий.

Андрес прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него в душе, припал к его стопам и со всей торжественностью произнес: — Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сиянии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит верный вассал, тысячи голосов бедного, злосчастного народа заключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!

Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышенных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно прижал к груди и, рыдая, молвил:

— Министр! Андрес, я обязан тебе шестью дукатами, — более того — моим счастьем — моим государством! — о, верный, разумный слуга!

Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гласящий, что с сего числа введено просвещение и каждому вменяется впредь с тем сообразовываться.

— Преславный государь, — воскликнул меж тем Андрес, — преславный государь, так дело не делается!

— А как же оно делается, любезный? — спросил Пафнутий, ухватил министра за петлицу и повлек в кабинет, закрыв за собою двери.

— Видите ли, — начал Андрес, усевшись на маленьком табурете насупротив своего князя, — видите ли, всемилостивый господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не соединим его с некими мерами, кои хотя и кажутся суровыми, однако ж повелеваются благоразумием. Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу, — прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества. Преславный князь, вы читали «Тысячу и одну ночь», ибо, я знаю, ваш светлейший, блаженной памяти господин папаша — да ниспошлет ему небо нерушимый сон в

могиле! — любил подобные гибельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший господин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы, верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь, близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.

— Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Феи — здесь, в моей стране! — восклицал князь, побледнев и откинувшись на спинку кресла.

— Мы можем быть спокойны, мой милостивый повелитель, — продолжал Андрес, — мы можем быть спокойны, ежели вооружимся разумом против сих врагов просвещения. Да! Врагами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив добротой вашего блаженной памяти господина папаши, повинны в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной тьме. Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения. Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А посему, милостивейший повелитель, как только будет провозглашено просвещение, — всех фей гнать! Их дворцы оцепит полиция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг, спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по «Тысяче и одной ночи».

— А ходит туда почта, Андрес? — справился князь.

— Пока что нет, — отвечал Андрес, — но, может статься, после введения просвещения полезно будет учредить каждодневную почту и в эту страну.

— Однако, Андрес, — продолжал князь, — не почтут ли меры, принятые нами против фей, жестокими? Не возропщут ли народ?

— И на сей случай, — сказал Андрес, — и на сей случай располагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вредить просвещению, но и употребим все нужные для того средства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного государства. Не пожелают они вступить в благонадежный брак — пусть под строгим присмотром упражняются в каком-нибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если случится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внимание, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них будут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на княжескую кухню; крылатых коней также можно для опыта приручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и давая им корма в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вместе с просвещением. <...>

Пафнутий остался несказанно доволен предложениями своего министра, и уже на другой день было выполнено все, о чем они порешили.

На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, налагала арест на все имущество и уводила их под конвоем.

Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде, за несколько часов до того, как разразилось просвещение, одна из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что ее решено было оставить в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась.

Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они нимало не печалются обо всем том имуществе, которое припуждены оставить.

— В конце концов, — сказал, прогневавшись, Пафнутий, — в конце концов, выходит, что Джиннистан более привлекательная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь только и должно расцвести.

Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране. Они

оба согласились на том, что Джиннистан — прежалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе.

Пафнутий почувствовал себя успокоенным.

Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дворец феи Розабельверде, была вырублена и Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил в близлежащей деревне всем крестьянским увальням оспу, фея подстерегла князя в лесу, через который он вместе с министром Андресом возвращался в свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же некоторыми зловещими кунштюками, которые утаила от полиции, загнала князя в тупик, так что он, заклиная небом, молил ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно, и самом лучшем во всем государстве приюте для благородных девиц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйничать и управлять, как ей будет угодно.

Фея Розабельверде приняла предложение и таким образом попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже было сказано, назвалась фройляйн фон Розенгрюншён, а потом, по неотступной просьбе барона Претекстатуса фон Мондшейна, фройляйн фон Розеншён.

Перевод А. Морозова

❧ Задания ❧

- ❧ Что князь Пафнутий понимал под просвещением?
- ❧ За что и как мстит людям фея Розабельверде?
- ❧ Как ведет себя Циннобер? Какими качествами он обладает? Как отнесится к похвалам?

Эдгар Аллан

ПО

(1809—1849)

С особой выразительностью своеобразие поэтики и стилистики Эдгара По сказалось в стихотворении «Ворон» (1845): в нем выверено каждое слово, создан впечатляющий эффект от появления ворона в келье потерявшего свою возлюбленную поэта.

Стихотворение состоит из 18 строф, каждая из которых содержит шесть строк, причем две последние играют роль рефрена. Звукопись усиливается благодаря внутренней рифмовке и аллитерациям. Странный гость ворон кажется символом роковой судьбы. По мере приближения к финалу нагнетается мрачно-безнадежная атмосфера. Подобно заключительному аккорду, каждая строфа завершается словом «Nevermore» (никогда).

И венчая шкаф мой книжный, неподвижный,
неподвижный,
С изваяния Минервы не слетает никуда,
Восседает ворон черный, несменяемый дозорный,
Давит взор его упорный, давит, словно глыба льда.
И мой дух оцепенелый из-под мертвой глыбы льда
Не восстанет никогда.

Перевод М. Донского

ВОРОН

Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы,
Меж томов старинных, в строки рассужденья одного
По отвергнутой науке и расслышал смутно звуки,
Вдруг у двери словно стуки — стук у входа моего.
«Это — гость, — пробормотал я, — там, у входа моего,
Гость, — и больше ничего!»

Ах! мне помнится так ясно: был декабрь и день ненастный,
Был как призрак — ответ красный от камина моего.
Ждал зари я в нетерпенье, в книгах тщетно утешенье
Я искал в ту ночь мученья, — бденья ночь, без той, кого
Звали здесь Линор. То имя... Шепчут ангелы его,
На земле же — нет его.

Шелковистый и не резкий, шорох алой занавески
Мучил, полнил темным страхом, что не знал я до него.
Чтоб смирить в себе биенья сердца, долго в утешенье
Я твердил: «То — посещение просто друга одного».
Повторял: «То — посещение просто друга одного,
Друга, — больше ничего!»

Наконец, владея волей, я сказал, не медля боле:
«Сэр иль Мистрисс, извините, что молчал я до того.
Дело в том, что задремал я и не сразу расслышал я,
Слабый стук не разобрал я, стук у входа моего».
Говоря, открыл я настежь двери дома моего.
Тьма, — и больше ничего.

И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий,
Полный грез, что ведать смертным не давалось до того!
Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова,
Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его.
Я шепнул: «Линор» — и эхо повторило мне его,
Эхо, — больше ничего.

Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела),
Вскоре вновь я стук расслышал, но ясней, чем до того.
Но сказал я: «Это ставней ветер зыблет своенравный,
Он и вызвал страх недавний, ветер, только и всего.
Будь спокойно, сердце! Это — ветер, только и всего.
Ветер, — больше ничего!»

Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя
Статный, древний Ворон, шумом крыльев славя торжество,
Поклониться не хотел он; не колеблясь, полетел он,
Словно лорд иль леди, сел он, сел у входа моего,
Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего,
Сел, — и больше ничего.

Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица¹,
В строгой важности — сурова и горда была тогда.
«Ты, — сказал я, — лыс и черен, но не робок и упорен,
Древний, мрачный Ворон, странник с берегов, где ночь всегда!
Как же царственно ты прозван у Плутона²?» Он тогда
Каркнул: «Больше никогда!»

Птица ясно прокричала, изумив меня сначала.
Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда.
Но не всем благословенье было — ведать посещение
Птицы, что над входом сядет, величава и горда,
Что на белом бюсте сядет, чернокрыла и горда,
С кличкой «Больше никогда!»

Одинокый, Ворон черный, сев на бюст, бросал, упорный,
Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда.
Их твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул,
Наконец я птице кинул: «Раньше скрылись без следа
Все друзья; ты завтра сгинешь безнадежно!..» Он тогда
Каркнул: «Больше никогда!»

Вздрогнул я, в волнение мрачном, при ответе столь удачном
«Это — все, — сказал я, — видно, что он знает, жив года,
С бедняком, кого терзали беспощадные печали,
Гнали вдаль и дальше гнали неудачи и нужда.
К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда
Знала: больше никогда!»

Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица.
Быстро кресло подкатил я против птицы, сел туда:
Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний,
Сны за снами; как в тумане, думал я: «Он жил года,
Что ж пророчит, вещий, тощий, живший в старые года,
Крик: больше никогда?»

Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога
Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем тогда.

¹ *Эбеновая птица* — черным цветом своих крыльев ворон напоминает черное, эбеновое дерево.

² *Плутон* — в древнегреческой мифологии бог подземного царства мертвых.

Это думал и иное, прислонясь челом в покое
К бархату; мы, прежде, двое так сидели иногда...
Ах! при лампе не склоняться ей на бархат иногда

Больше, больше никогда!

И, казалось, клубы дыма льет курильница незримо,
Шаг чуть слышен серафима, с ней вошедшего сюда.
«Бедный! — я вскричал, — то Богом послан отдых всем

тревогам,

Отдых, мир! чтоб хоть немного ты вкусил забвенье, — да?
Пей! о, пей тот сладкий отдых! позабудь Линор. — о, да?»

Ворон: «Больше никогда!»

«Вещий, — я вскричал, — зачем он прибыл, птица или демон
Искусителем ли послан, бурей пригнан ль сюда?

Я не пал, хоть полн уныний! В этой закланной пустыне,
Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда
В Галааде¹ мир найду я? обрету бальзам когда?»

Ворон: «Больше никогда!»

«Вещий, — я вскричал, — зачем он прибыл, птица или

демон?

Ради неба, что над нами, часа Страшного Суда,
Отвечай душе печальной: я в раю, в отчизне дальней,
Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда?
Ту мою Линор, чье имя шепчут ангелы всегда?»

Ворон: «Больше никогда!»

«Это слово — знак разлуки! — крикнул я, ломая руки. —
Возвратись в края, где мрачно плещет Стиксова вода²!
Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных!
Не хочу друзей тлетворных! С бюста — прочь, и навсегда!
Прочь — из сердца клюв, и с двери — прочь виденье
навсегда!»

Ворон: «Больше никогда!»

И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он,
Там, над входом, Ворон черный, с белым бюстом слит всегда!

¹ Галаада — древняя гористая страна в Палестине.

² Стиксова вода — вода Стикса (греч. миф.) — реки в подземном царстве.

Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный.
Тень ложится удлиненно, на полу лежит года, —
И душе не встать из тени, пусть идут, идут года, —
Знаю, — больше никогда!

Перевод В. Брюсова

❧ Задания ❧

- ~ Как поэт создает в стихотворении таинственное и мрачное настроение?
- ~ Какова роль рефрена в создании мрачного настроения стихотворения?
- ~ В чем символический смысл образа ворона?

Фредерик
СТЕНДАЛЬ
(1783—1842)

Роман «Красное и черное» (1830) основан на реальных событиях. Стендаля поразила судьба двух приговоренных к смертной казни молодых людей. Один из них, Берте, молодой честолюбец, стрелял в мать детей, гувернером которых он был. Второй, Лафарг, рабочий-краснодеревщик, увлекался философией и литературой. Влюбившаяся в него и отвергнутая им девица обвинила его в попытке насилия. Стендаль в обоих случаях увидел характерное явление времени: общество убивает молодых людей, вышедших из третьего сословия, если они не подчиняются рутине, стремятся реализовать свои внутренние возможности или личные амбиции.

Главный герой романа Жюльен Сорель — плебей, сын плотника, обладающий незаурядными способностями. По рождению он не может выйти за пределы своего социального круга, но он другой, он не похож на отца и братьев и хочет необыкновенной, героической жизни. В начале века такое было возможно. Пример тому — судьба Наполеона. Он — кумир Жюльена. Таким же мог бы стать и Жюльен, но он опоздал родиться. Сын плотника может стать только плотником. А Жюльен мог бы стать епископом, или генералом, или высокопоставленным чиновником.

Жюльен стремится вырваться из провинциального городка и пробует разные пути: духовенство (городок Безансон, где находится семинария, в которой учится Жюльен), провинциальная аристократия (Веррьер, дом мэра господина де Реналья, гувернером детей которого является Жюльен) и высший свет (Париж, дом де ла Молей, где Жюльен служит секретарем).

Чтобы войти в круг аристократов, Жюльен прилагает колоссальные усилия. Он «строит» себя, созидает в себе наполеоновский характер. От природы он нежен, застенчив и не очень храбр, а хочет быть отчаянно смелым, решительным, мужественным, поэтому каждый день заставляет себя делать то, чего страшится или опасается, воспитывает в себе волю.

Это воспитательное насилие над собой ярко представлено в эпизоде с пожатием руки госпожи де Реналь.

Постепенное продвижение в мир духовенства, аристократии и буржуазии позволяет Жюльену увидеть, как ничтожны эти люди. В семинарии господствует «ежеминутно лицемерие», «мысль там считается преступлением», «здоровое рассуждение <...> оскорбительно». Аббат Пирар называет духовенство «лакеями, необходимыми для спасения души». В аристократическом обществе пользуются «всеобщим почетом... жулики... которых не поймали на месте преступления».

Поэтому добившийся многого Жюльен не захочет ломать себя, чтобы подстроиться под этих людей. Он совершит дерзкий поступок — выстрелит в свою бывшую возлюбленную госпожу де Реналь и будет отправлен на эшафот.

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

(ФРАГМЕНТЫ)

«Дидона» Герена — прелестный набросок!

Штрэмбек

IX

ВЕЧЕР В УСАДЬБЕ

Когда на другое утро Жюльен увидел г-жу де Реналь, он несколько раз окинул ее очень странным взглядом: он наблюдал за ней, словно за врагом, с которым ему предстояла схватка. Столь разительная перемена в выражении этих взглядов, происшедшая со вчерашнего дня, привела госпожу де Реналь в сильное смятение: ведь она так ласкова с ним, а он как будто сердится. Она не в состоянии была оторвать от него глаз.

Присутствие г-жи Дервиль позволяло Жюльену говорить поменьше и почти всецело сосредоточиться на том, что у него было на уме. Весь этот день он только тем и занимался, что старался укрепить себя чтением вдохновлявшей его книги, которая закаляла его дух.

Он намного раньше обычного закончил свои занятия с детьми, и когда после этого присутствие г-жи де Реналь заставило его снова целиком погрузиться в размышления о долге и о чести, он решил, что ему надо во что бы то ни стало сегодня же вечером добиться, чтобы ее рука осталась в его руке.

Солнце садилось, приближалась решительная минута, и сердце Жюльена неистово колотилось в груди. Наступил ве-

чер. <...> Небо, затянутое низко бегущими облаками, которые погонял знойный ветер, по-видимому, предвещало грозу. Приятельницы загуляли допоздна. Во всем, что бы они ни делали в этот вечер, Жюльену чудилось что-то особенное. Они наслаждались этой душной погодой, которая для некоторых чувствительных натур словно усиливает сладость любви.

Наконец все уселись — г-жа де Реналь рядом с Жюльеном, а г-жа Дервиль рядом со своей подругой. Поглощенный тем, что ему предстояло свершить, Жюльен ни о чем не мог говорить. Разговор не клеился.

«Неужели, когда я первый раз выйду на поединок, я буду вот так же дрожать и чувствовать себя таким же жалким?» — говорил себе Жюльен, ибо, по своей чрезмерной подозрительности к самому себе и к другим, он не мог не сознавать, в каком он сейчас состоянии.

Он предпочел бы любую опасность этому мучительному томлению. Уж он не раз молил судьбу, чтобы г-жу де Реналь позвали по какому-нибудь делу в дом и ей пришлось бы уйти из сада. Усилие, к которому вынуждал себя Жюльен, было столь тяжело, что даже голос у него заметно изменился, а вслед за этим сейчас задрожал голос и у г-жи де Реналь; но Жюльен этого даже не заметил. Жестокая борьба между долгом и нерешительностью держала его в таком напряжении, что он не в состоянии был видеть ничего, что происходило вне его самого. Башенные часы пробили три четверти десятого, а он все еще ни на что не решился. Возмущенный собственной трусостью, Жюльен сказал себе: «Как только часы пробьют десять, я сделаю то, что обещал себе нынче весь день сделать вечером, — иначе иду к себе, и пулю в лоб».

И вот миновал последний миг ожидания и томительного страха, когда Жюльен от волнения уже не помнил самого себя, и башенные часы, высоко над его головой, пробили десять. Каждый удар этого рокового колокола отдавался у него в груди и словно заставлял ее содрогаться.

Наконец, когда последний десятый удар пробил и еще гудел в воздухе, он протянул руку к г-же де Реналь и взял ее за руку, — она тут же отдернула ее. Жюльен, плохо сознавая, что делает, снова схватил ее руку. Как ни взволнован он был, он все же невольно поразился — так холодна была эта застывшая рука; он судорожно сжал ее в своей; еще одно последнее усилие вырваться, — и наконец ее рука затихла в его руке.

Душа его утопала в блаженстве, — не оттого, что он был влюблен в г-жу де Реналь, а оттого, что наконец кончилась

эта чудовищная пытка. Для того чтобы г-жа Дервиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить — голос его прозвучал громко и уверенно. Голос г-жи де Реналь, напротив, так прерывался от волнения, что ее подруга решила, что ей нездоровится, и предложила вернуться домой. Жюльен почувал опасность: «Если г-жа де Реналь уйдет сейчас в гостиную, я опять окажусь в том же несносном положении, в котором я пробыл сегодня целый день. Я так мало еще держал ее руку в своей, что это не может считаться завоеванным мной правом, которое будет признано за мной раз навсегда».

Г-жа Дервиль еще раз предложила пойти домой, и в эту самую минуту Жюльен крепко стиснул в своей руке покорно отдавшуюся ему руку.

Г-жа де Реналь, которая уже совсем было поднялась, снова села и сказала едва слышным голосом:

— Мне, правда, что-то немножко нездоровится, но только, пожалуй, на свежем воздухе мне лучше.

Эти слова так обрадовали Жюльена, что он почувствовал себя на седьмом небе от счастья: он стал болтать, забыл обо всяком притворстве, и обеим подругам, которые его слушали, казалось, что милее и приятнее человека нет на свете. Однако во всем этом красноречии, которое нашло на него так внезапно, была некоторая доля малодушия. Он ужасно боялся, как бы г-жа Дервиль, которую раздражал сильный ветер, по видимому, предвещавший грозу, не вздумала одна вернуться домой. Тогда ему пришлось бы остаться с глазу на глаз с г-жой де Реналь. У него как-то нечаянно хватило слепого мужества совершить то, что он сделал, но сказать теперь хотя бы одно слово г-же де Реналь было выше его сил. Как бы мягко она ни упрекнула его, он почувствует себя побежденным, и победа, которую он только что одержал, обратится в ничто.

На его счастье, в этот вечер его прочувствованные и приподнятые речи заслужили признание даже г-жи Дервиль, которая частенько говорила, что он держит себя нескладно, как ребенок, и не находила в нем ничего особенно интересного. Что же касается г-жи де Реналь, чья рука покоилась в руке Жюльена, она сейчас не думала ни о чем, она жила словно в забытьи. Эти часы, которые они провели здесь, под этой громадной липой, посаженной, как утверждала молва, самим Карлом Смелым, остались для нее навсегда счастливейшей порой ее жизни. Она с наслаждением слушала, как вздыхает ветер в густой липовой листве, как стучат, падая на нижние листья, редкие капли начинающегося дождя. Жюльен пропустил без внимания одно

обстоятельство, которое могло бы чрезвычайно порадовать его: г-жа де Реналь на минутку встала, чтобы помочь кузине поднять цветочную вазу, которую ветер опрокинул им под ноги, и поневоле отняла у него руку, но, как только она опять села, она тотчас же чуть ли не добровольно отдала ему руку, как если бы это уже с давних пор вошло у них в обычай.

Давно уже пробило двенадцать, пора было уходить из сада; они разошлись. Г-жа де Реналь, совершенно упоенная своей любовью, пребывала в таком блаженном неведении, что даже не упрекала себя ни в чем. Всю ночь она не сомкнула глаз, — счастье не давало ей уснуть. Жюльен сразу заснул мертвым сном, совершенно изнеможенный этой борьбой, которую в течение целого дня вели в его сердце застенчивость и гордость.

Утром его разбудили в пять; и если бы только г-жа де Реналь знала, каким бы это было для нее жестоким ударом, — он даже и не вспомнил о ней. Он выполнил *свой долг, героический долг*. Упоенный этим сознанием, он заперся на ключ у себя в комнате и с каким-то новым удовольствием погрузился в описание подвигов своего героя.

Когда позвонили к завтраку, он, начитавшись подробных донесений об операциях Великой Армии, уже забыл о всех своих победах, одержанных накануне. Сходя в столовую, он полушутливо подумал: «Надо будет сказать этой женщине, что я влюблен в нее».

Но вместо томных взоров, которые он рассчитывал встретить, он увидел сердитую физиономию г-на де Реналь, который уже два часа назад приехал из Веррьера и сейчас отнюдь не скрывал своего крайнего неудовольствия тем, что Жюльен целое утро провел, не занимаясь с детьми. Нельзя было представить себе ничего отвратительнее этого спесивого человека, когда он бывал чем-нибудь недоволен и считал себя вправе показывать свое неудовольствие.

Каждое едкое слово мужа разрывало сердце г-жи де Реналь. Но Жюльен все еще пребывал в таком экстазе, весь он был до того поглощен великими делами, которые в течение нескольких часов свершались перед его мысленным взором, что ему трудно было сразу спуститься на землю; грубые замечания г-на де Реналь почти не доходили до него. Наконец он ему ответил довольно резко:

— Я себя плохо чувствовал.

Тон, каким это было сказано, задел бы, пожалуй, и гораздо менее обидчивого человека, чем веррьерский мэр; он чуть было не поддался желанию тотчас же выгнать Жюльена. Его

удержало только вошедшее у него в привычку правило никогда не торопиться в делах.

«Этот негодный мальчишка, — подумал он, — создал себе некоторую репутацию у меня в доме; Валено, пожалуй, возьмет его к себе, а не то, так он женится на Элизе, — и в том и в другом случае он втайне будет смеяться надо мной».

Однако, несмотря на эти весьма резонные рассуждения, недовольство г-на де Реналь разразилось грубой бранью, которая мало-помалу разозлила Жюльена. Г-жа де Реналь едва удерживалась от слез. Как только поднялись из-за стола, она подошла к Жюльену и, взяв его под руку, предложила пойти погулять; она дружески оперлась на него. Но на все, что бы ни говорила ему г-жа де Реналь, Жюльен только отвечал вполголоса:

— Вот каковы они, богатые люди.

Г-н де Реналь шел рядом с ними, его присутствие еще усиливало ярость Жюльена. Он вдруг заметил, что г-жа де Реналь как-то слишком явно опирается на него; ему стало противно: он грубо оттолкнул ее и отдернул свою руку.

К счастью, г-н де Реналь не заметил этой новой дерзости, ее заметила только г-жа Дервиль: приятельница ее расплакалась. Как раз в эту минуту г-н де Реналь принялся швырять камнями в какую-то крестьянскую девочку, которая осмелилась пойти запретной дорожкой, пересекавшей дальний конец фруктового сада.

— Господин Жюльен, умоляю вас, возьмите себя в руки, подумайте, у всякого ведь бывают дурные настроения, — поспешила заметить ему г-жа Дервиль.

Жюльен холодно смерил ее взглядом, исполненным самого безграничного презрения.

Этот взгляд удивил г-жу Дервиль, но он удивил бы ее еще больше, если бы она догадалась, что, собственно, он хотел им выразить: она прочла бы в нем что-то вроде смутной надежды на самую яростную месть. Несомненно, вот такие-то минуты унижения и создают Робеспьеров. <...>

Едва только г-н де Реналь удалился, как обе приятельницы, под предлогом, что они очень устали, подхватили Жюльена под руки с обеих сторон.

Он шел между этими двумя женщинами, раскрасневшимися от волнения и замешательства, и какой удивительный контраст представляла рядом с ними его высокомерная бледность, его мрачный, решительный вид. Он презирал этих женщин и все нежные чувства на свете.

«Будь у меня хотя бы пятьсот франков в год, — говорил он себе, — чтобы только хватило на учење! Эх, послал бы я его к черту». <...>

Погруженный в эти недобрые размышления, он едва достаивал внимания любезности обеих подруг, а то немногое, что достигало его слуха, раздражало его, казалось лишенным смысла, вздорным, беспомощным, — одним словом, бабьей болтовней.

Чтобы только говорить о чем-нибудь и как-то поддержать разговор, г-жа де Реналь между прочим упомянула о том, что муж ее только потому приехал сегодня из Веррьера, что сговорился с одним фермером, у которого он купил кукурузную солому (кукурузной соломой в здешних краях набивают матрацы). <...>

Жюльен переменился в лице; он как-то странно поглядел на г-жу де Реналь и, ускорив шаг, быстро увлек ее вперед. Г-жа Дервиль не стала их догонять.

— Спасите меня, — сказал Жюльен г-же де Реналь. — Вы одна только и можете это сделать, вы ведь знаете, этот лакей до смерти ненавидит меня. Я должен вам признаться: у меня есть один портрет, и он спрятан у меня в матраце.

Г-жа де Реналь, услышав это, внезапно побледнела.

— Только вы одна можете сейчас войти в мою комнату. Пошарьте как-нибудь незаметно, в самом углу матраца, с той стороны, где окно, — вы нащупаете там маленькую коробочку: такая гладкая черная картонная коробочка.

— И в ней портрет? — вымолвила г-жа де Реналь, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги.

Жюльен, заметив ее убитый вид, тотчас воспользовался этим.

— У меня к вам еще одна просьба: сделайте милость, сударыня, умоляю вас, не глядите на этот портрет, — это моя тайна.

— Тайна? — шепотом повторила г-жа де Реналь.

Но хотя она выросла среди спесивых людей, чванившихся своим богатством и не помышлявших ни о чем, кроме наживы, любовь, пробудившаяся в этой душе, уже научила ее великодушию. Как ни жестоко она была уязвлена, она с самоотверженной готовностью стала расспрашивать Жюльена о кое-каких подробностях, которые ей были необходимы, чтобы выполнить его поручение.

— Хорошо, — сказала она, уходя, — значит, маленькая круглая коробочка, совсем гладкая, черная.

— Да, да, сударыня, — отвечал Жюльен тем жестким тоном, который появляется у людей в минуты опасности.

Бледная, точно приговоренная к казни, она поднялась на второй этаж. В довершение ко всем этим нестерпимым мукам она вдруг почувствовала, что ей вот-вот сделается дурно, но сознание, что она должна помочь Жюльену, вернуло ей силы.

«Я во что бы то ни стало должна достать эту коробку», — сказала она себе.

Она услышала голос мужа, который разговаривал с лакеем как раз в комнате Жюльена. Но, на ее счастье, они прошли в детскую. Она приподняла матрац и так стремительно засунула руку в солому, что исцарапала себе все пальцы. Но, хоть она и была очень чувствительна к боли, сейчас она ее даже не заметила, так как в тот же момент она нащупала гладкую поверхность коробочки. Она схватила ее и выбежала из комнаты.

Едва только она избавилась от страха, что ее застанет муж, как мысль об этой коробке привела ее в такое смятение, что она на самом деле чуть было не лишилась чувств.

«Значит, Жюльен влюблен, и вот здесь, у меня в руках, портрет женщины, которую он любит».

Терзаемая всеми муками ревности, г-жа де Реналь в изнеможении опустилась на стул в передней, возле его двери. Ее исключительное неведение помогло ей и на этот раз. Удивление, которое она сейчас испытывала, смягчало ее муки. Вошел Жюльен; он выхватил у нее из рук коробку и, не сказав ни слова, не поблагодарив, бросился к себе в комнату, мигом развел огонь в камине и швырнул в него коробку. Он стоял бледный, уничтоженный; он сильно преувеличивал грозившую ему опасность.

«Портрет Наполеона, — говорил он себе, качая головой. — И его хранит у себя человек, выражающий такую ненависть к узурпатору. И портрет этот находит господин де Реналь, лютый роялист, который к тому же так обозлен на меня. И надо же проявить такую неосторожность: сзади на портрете, прямо на белом картоне, целые строки, написанные моей рукой. И уж тут никаких сомнений быть не может, сразу ясно, что я перед ним преклоняюсь. Все мои излияния в любви помечены числом. И последнюю запись я сделал вот только позавчера».

«Так бы сразу и кончилась и погибла в один миг вся моя репутация, — говорил себе Жюльен, глядя, как пылает его коробочка. — А ведь моя репутация — это все, что я имею, только этим я и живу... а какая это жизнь, боже мой».

Час спустя, усталый и преисполненный жалости к самому себе, Жюльен совсем расчувствовался. Встретившись с г-жой де Реналь, он взял ее руку, поднес к своим губам и поцеловал с такой сердечностью, какой ему никогда не удавалось изобразить. Она вся так и вспыхнула от счастья и вдруг, чуть ли не в тот же миг, оттолкнула его в порыве ревности. Гордость Жюльена, еще не оправившаяся от нанесенного ей недавно удара, лишила его теперь рассудка. Он увидел в г-же де Реналь только богатую даму и ничего более; он с презрением выпустил ее руку и удалился. В глубоком раздумье он пошел бродить по саду, и вскоре горькая усмешка искривила его губы.

«Разгуливаю спокойно, точно я сам себе хозяин. На детей не обращаю никакого внимания и дождусь того, что мне опять придется выслушать всякие унижительные попреки господина де Реналь, и он будет прав».

И Жюльен побежал в детскую.

Младший мальчик, которого он очень любил, стал ласкаться к нему, и это немножко смягчило его горькие чувства.

«Этот меня еще не презирает, — подумал он. Но тут же упрекнул себя за свое мягкосердие, решив, что это опять не что иное, как проявление слабости. — Эти дети ласкают меня так же, как они приласкали бы охотничью собаку, которую им купили вчера».

XVIII

КОРОЛЬ В ВЕРРЬЕРЕ

Или вы годны на то лишь, чтобы выкинуть вас, словно падаль, — народ, души лишенный, у коего кровь в жилах остановилась.

Проповедь епископа в часовне св. Климента

3 сентября, в десять часов вечера, по главной улице Веррьера галопом проскакал жандарм и перебудил весь город. Он привез известие, что его величество король «соизволит прибыть в воскресенье», — а дело происходило во вторник. Господин префект разрешил, то есть, иначе говоря, распорядился произвести отбор среди молодых людей для почетного караула: надо было позаботиться, чтобы все было обставлено как нельзя более торжественно и пышно. Тут же полетела эстафета в Вержи. Г-н де Реналь прискакал ночью и застал весь город в смятении. Всякий совался со своими предложениями; те, у кого не было особых забот, торопились поскорее снять балкон, чтобы полюбоваться на въезд короля.

Но кого же назначить командиром почетного караула? Г-н де Реналь тотчас же сообразил, что для пользы домов, подлежащих сносу, весьма важно, чтобы это командование было поручено не кому иному, как г-ну де Муаро. Это стало бы для него чем-то вроде грамоты, дающей ему право занять место первого помощника. Никаких нареканий относительно благочестия г-на де Муаро быть не могло; поистине оно было непревзойденным, но вот беда — он никогда в жизни не сидел в седле. Это был тридцатилетний господин в высшей степени робкого нрава, который одинаково боялся и свалиться с лошади и оказаться в смешном положении.

Мэр вызвал его к себе в пять часов утра.

— Вы можете видеть, сударь, что я прибегаю к вам за советом, как если бы вы уже занимали тот пост, на котором вас жаждут видеть все честные люди. В нашем несчастном городе процветают фабрики, либеральная партия ворочает миллионами, она стремится забрать власть в свои руки и добивается этого любыми средствами. Подумаем об интересах короля, об интересах монархии, а ранее всего об интересах нашей святой церкви. Скажите мне ваше мнение, сударь, — кому, как вы полагаете, могли бы мы поручить командование почетным караулом?

Несмотря на неописуемый страх перед лошадьми, г-н де Муаро в конце концов решился принять на себя это почетное звание, как мученический венец.

— Я сумею держаться достойным образом, — сказал он мэру.

Времени оставалось в обрез, а надо было еще успеть привести в порядок форменные мундиры, в которых семь лет назад встречали в Веррьере некоего принца крови.

В семь часов утра из Вержи прикатила г-жа де Реналь с детьми и Жюльеном. Гостиную ее уже осаждали жены либералов; ссылаясь на то, что сейчас надо показать полное единение партий, они умоляли ее замолвить словечко супругу и убедить его оставить для их мужей хотя бы одно место в этом почетном карауле. Одна из них уверяла, что если ее мужа не выберут, он с горя непременно объявит себя банкротом. Г-жа де Реналь быстро выпроводила всех вон. Она казалась чем-то сильно озабоченной.

Жюльен очень удивлялся, а еще того больше сердился, что она скрывает от него причину своего волнения. «Я так и думал, — говорил он себе с горечью. — Всю ее любовь затмило теперь это великое счастье принимать у себя короля. Она про-

сто в себя прийти не может от всей этой кутерьмы. Когда все эти их кастовые бредни перестанут ей кружить голову, тогда она меня снова будет любить».

И — удивительная вещь — от этого он словно еще больше в нее влюбился.

По всему дому работали обойщики. Жюльен долго и тщетно выжидал случая перекинуться с ней хоть словечком. Наконец он поймал ее, когда она выходила из его комнаты с какой-то его одеждой в руках. Кругом никого не было. Он попытался было с ней заговорить. Но она не стала его слушать и убежала. «Должно быть, я сущий дурак, что вздумал влюбиться в такую женщину: ей так хочется блеснуть, что она просто помешалась на этом, точь-в-точь как ее муженек».

Сказать правду, она даже превзошла своего мужа; ее захватила одна заветная мечта, в которой она никак не решалась признаться Жюльену из страха его обидеть: ей страстно хотелось заставить его хотя бы на один день снять это унылое черное одеяние. С необыкновенной ловкостью, поистине достойной удивления у столь простодушной женщины, она уговорила сначала г-на де Муаро, а затем и помощника префекта г-на де Можирона назначить Жюльена в почетный караул, хотя на это место претендовало еще пять-шесть молодых людей — сыновья очень богатых местных фабрикантов, причем по крайней мере двое из них отличались примерным благочестием. Г-н Валено, намеревавшийся усадить в свою коляску самых хорошеньких женщин в городе и таким образом заставить всех любоваться его прекрасными нормандками, согласился дать одну из своих лошадей Жюльену, которого он, кстати сказать, ненавидел от всей души. Но у всех, кто был зачислен в почетный караул, были собственные — или взятые напрокат — роскошные небесно-голубые мундиры с серебряными полковничьими эполетами, — те самые, в которых почетные стражи щеголяли семь лет назад. Г-же де Реналь хотелось во что бы то ни стало достать Жюльену новый мундир, и у нее оставалось всего-навсего четыре дня на то, чтобы заказать в Безансоне и успеть получить оттуда полную форму, оружие, треуголку и прочее, — словом, все, что требуется для почетного стража. Забавнее всего было то, что она почему-то опасалась заказать мундир Жюльену здесь, в Веррьере. Ей хотелось преподнести сюрприз и ему и всему городу.

Когда наконец вся эта возня с почетным караулом и с обработкой общественного мнения была закончена, мэру пришлось принять участие в хлопотах по проведению торже-

ственной религиозной церемонии. Король при посещении города Веррьера не хотел упустить случая поклониться прославленным мощам святого Климента, что покоятся в Брей-ле-О, в полулье от города. Желательно было собрать елико возможно больше духовенства, а это оказалось весьма трудным делом: новый кюре, г-н Маслон, ни в коем случае не желал, чтобы в этом участвовал г-н Шелан. Тщетно г-н де Реналь всячески доказывал ему, что это было бы в высшей степени неосторожно. Маркиз де ля Мошь, чьи предки с давних пор, из рода в род, были губернаторами этой провинции, находится в числе лиц, составляющих свиту короля. И он уже тридцать лет знает аббата Шелана! Разумеется, он не преминет осведомиться о нем, будучи в Веррьере. А стоит ему только узнать, что тот впал в немилость, так ведь это такой человек, что с него станет пойти к старику в его домишко, да еще со всей свитой, какая только окажется при нем. Вот это так будет пощечина!

— А для меня это будет позор как здесь, так и в Безансоне, — отвечал аббат Маслон, — если он только появится в моем приходе. Помилуй меня боже, да ведь он янсенист.

— Что бы вы там ни говорили, дорогой мой аббат, — возражал ему г-н де Реналь, — а я не могу допустить, чтобы представители власти в Веррьере получили такой щелчок от господина де ля Мошь. Вы его не знаете; ведь это он при дворе благомыслящий, а здесь, в провинции, это такой зубоскал и насмешник, всякому случаю рад потешиться над людьми. Ведь он просто ради того, чтобы позабавиться, способен поставить нас в самое дурацкое положение перед всеми этими либералами.

Наконец уже только в ночь с субботы на воскресенье, после трехдневных переговоров, гордость аббата Маслона была сломлена трусостью господина мэра, который расхрабрился со страху. Пришлось написать медоточивое письмо аббату Шелану и просить его принять участие в торжественном поклонении мощам в Брей-ле-О, если, разумеется, его преклонный возраст и недуги позволят ему это. Г-н Шелан потребовал и получил приглашительное письмо для Жюльена, который должен был сопровождать его в качестве иподиакона.

С раннего утра в воскресенье тысячи крестьян, стекаясь из деревень с окрестных гор, наводняли улицы Веррьера. Солнце сияло вовсю. Наконец, около трех часов пополудни, вся толпа заволновалась: на высоком утесе в двух лье от Веррьера вспыхнул большой костер. Этот сигнал обозначал, что король

изволил вступить в пределы департамента. Тут же грянули все колокола, и заухала раз за разом старенькая испанская пушка, принадлежавшая городу, выражая всеобщее ликование по поводу такого великого события. Половина населения уже взгромоздилась на крыши. Все женщины разместились на балконах. Почетный караул двинулся вперед. Все восхищались блестящими мундирами, каждый узнавал кто друга, кто родственника. Кругом посмеивались над страхом г-на де Муаро, который то и дело испуганно хватался рукой за луку седла. Но вот чье-то замечание возбудило всеобщий интерес и заставило забыть все остальное: первый всадник в девятом ряду был очень красивый, стройный юноша, которого сначала никто не мог узнать. И вдруг со всех сторон послышались негодующие возгласы, на всех лицах изобразилось возмущение, изумление, — словом, поднялся переполох. В этом молодом человеке, гарцевавшем на одной из нормандских лошадок г-на Валено, люди узнали мальчишку Сореля, сына плотника. Все в один голос принялись возмущаться мэром, в особенности либералы. Ка-ак! Только из-за того, что этот мальчишка-мастеровой, вырядившийся аббатом, состоит гувернером при его ребятишках, позволить себе наглость назначить его в почетный караул вместо господина такого-то и такого-то, богатых, почтенных фабрикантов!

— Так почему же эти господа не проучат хорошенько этого дерзкого парнишку, это мужицкое отродье! — кричала супруга банкира.

— Этот паренек спуску не даст, у него, видите, сабля на боку, — возразил ей сосед. — Того и гляди пырнет в лицо, с него станется.

Замечания людей, принадлежавших к светскому обществу, отличались несколько более опасным характером. Дамы спрашивали друг друга, неужели только мэра следует винить в этой непристойной выходке? Ведь, вообще говоря, до сих пор он отнюдь не проявлял никаких симпатий к людям низкого происхождения.

А в это время предмет всех этих обсуждений, Жюльен, чувствовал себя счастливейшим из смертных. Смелый от природы, он сидел на лошади много лучше, чем большинство молодых людей этого горного городка. По глазам женщин он прекрасно видел, что они говорят о нем.

Эполеты его сверкали ярче всех других, так как они были новехонькие. Конь под ним то и дело вставал на дыбы; он был наверху блаженства.

А когда они поравнялись со старой крепостной стеной и от внезапного выстрела маленькой пушечки лошадь вынесла его из строя, тут уж радость его перешла все границы. Он просто каким-то чудом не вылетел из седла — и с этого момента он почувствовал себя героем. Он был адъютантом Наполеона и мчался в атаку на вражескую батарею.

Но одна душа чувствовала себя еще счастливее его. Она следила за ним сначала из окна городской ратуши, затем, сев в коляску, она поскакала в объезд и поспела как раз вовремя, чтобы замереть от ужаса, когда лошадь вынесла его из рядов. После этого коляска помчалась во весь опор и, выехав через другую заставу, очутилась у самого края дороги, по которой должен был проехать король, и тут уже медленно, на расстоянии двадцати шагов, последовала за почетной стражей, окутанная благородной рыцарской пылью. Десять тысяч крестьян завопили: «Да здравствует король!» — когда мэр удостоился великой чести обратиться к его величеству с приветственной речью. Час спустя, выслушав все полагающиеся по регламенту речи, король уже въезжал в город, и маленькая пушечка салютовала ему непрерывной пальбой. И тут произошел несчастный случай, не с канонирами, кои превзошли свою науку под Лейпцигом и Монмиралем, а с будущим первым помощником, г-ном де Муаро. Его лошадка бережно скинула его в единственную лужу, которая нашлась на большой дороге; поднялась суматоха, ибо пришлось спешно извлекать его оттуда, дабы освободить дорогу для коляски короля.

Его величество изволил сойти у нашей прекрасной новой церкви, которая ради этого случая была изукрашена всеми своими пурпурными занавесями. Затем должен был состояться обед, после чего королю снова предстояло сесть в коляску и отправиться на поклонение мощам святого Климента. Едва только король вошел в церковь, Жюльен ринулся сломя голову к дому г-на де Реналь. Там, сокрушенно вздыхая, он расстался со своим небесно-голубым мундиром, со своими эполетами и с саблей и снова облачился в свой черный поношенный костюм. Затем он опять вскочил в седло и через несколько минут очутился в Брей-ле-О, расположенном на самой вершине очень живописного холма. «Экое воодушевление, народ все прибывает да прибывает, — подумал Жюльен. — В Веррьере толпы крестьян, так что не протиснешься, и здесь их тысяч десять, коли не больше, толчется вокруг этого старого монастыря». Наполовину разрушенное «варварством мятежников», аббатство при реставрации было восстановлено во всем своем вели-

колепии. Кругом уж начали поговаривать о чудесах. Жюльен разыскал аббата Шелана, который сначала хорошенько отчитал его, а потом дал ему сутану и стихарь. Жюльен быстро оделся и отправился с аббатом Шеланом разыскивать молодого епископа Агдского. Этот прелат, племянник г-на де ля Моль, был только что удостоен епископского сана, и на него была возложена высокая честь показать королю святую реликвию. Но где сейчас находился епископ — никто не знал.

Весь причт пребывал в страшном нетерпении. Он ждал своего владыку под темными готическими сводами старинного монастырского хода. Дабы представить древний капитул аббатства Брей-ле-О, состоявший до 1789 года из двадцати четырех каноников, собрали двадцать четыре священника. Прождав добрых три четверти часа, вздыхая и сокрушаясь по поводу того, что, несомненно, епископ слишком молод, они наконец пришли к заключению, что ректору капитула следовало бы пойти и уведомить его высокопреосвященство, что король вот-вот прибудет и что пора бы уж отправляться в церковь. Благодаря преклонному возрасту ректором оказался г-н Шелан, и хотя он очень сердился на Жюльена, он все же сделал ему знак следовать за ним. Стихарь на Жюльене сидел как нельзя лучше. При помощи уж неведомо каких ухищрений ему удалось превратить свои прекрасные непослушные кудри в совершенно гладкие патлы; но по оплошности, которая еще усиливала негодование г-на Шелана, из-под долгополой сутаны Жюльена выглядывали шпоры почетного стража. Когда они добрались до апартаментов епископа, важные разодетые лакеи едва сообразовали ответить старому кюре, что его высокопреосвященство сейчас видеть нельзя. Они подняли его на смех, когда он попытался объяснить им, что в качестве ректора благородного капитула Брей-ле-О он облечен правом являться в любое время к епископу своей церкви.

Гордая натура Жюльена возмутилась против этой лакейской наглости. Он бросился в коридор, куда выходили кельи, и стал толкаться в каждую дверь, которая ему попадалась по пути. Одна совсем маленькая дверца поддавалась его напору, и он очутился в келье среди камер-лакеев его высокопреосвященства, одетых в черные ливреи и с цепью на груди. Он влетел туда с такой поспешностью, что эти важные господа, решив, что он вызван самим епископом, не посмели остановить его. Пройдя несколько шагов, он очутился в громадной готической и почти совершенно темной зале, сплошь обшитой мореным дубом; высокие стрельчатые окна все, кроме одного,

были заделаны кирпичом. Эта грубая кирпичная кладка не была прикрыта ничем и представляла весьма убогое зрелище рядом со старинной роскошью деревянных резных панелей. Вдоль стен этой залы, хорошо известной бургундским антиквариям и построенной около 1470 года Карлом Смелым во искупление какого-то греха, тянулись ряды высоких деревянных кресел, отделанных богатой резьбой. На них, в виде барельефов из дерева, окрашенного в разные цвета, были представлены все чудеса апокалипсиса.

Это мрачное великолепие, обезображенное уродством голых кирпичей и белой штукатурки, потрясло Жюльена. Он остановился как вкопанный. На другом конце залы, возле единственного окна, сквозь которое проникал свет, он увидел большое створчатое зеркало в раме красного дерева. Молодой человек в лиловой рясе и кружевном стихаре, но с непокрытой головой, стоял в трех шагах от зеркала. Предмет этот казался крайне неуместным в таком месте; ясно было, что его только что привезли сюда из города. Жюльен заметил, что у молодого человека был очень сердитый вид; правой рукой он степенно раздавал благословения в сторону зеркала.

«Что бы это такое могло значить? — подумал Жюльен. — Должно быть, какой-нибудь предварительный обряд, возложенный на этого молодого священника. Может быть, это помощник епископа... Тоже будет грубить, как эти лакеи... Ну, черт возьми, — куда ни шло, — попытаемся».

Он неторопливо прошел через всю громадную залу, глядя прямо перед собой на это единственное окно и на этого молодого человека, который все кого-то без конца благословлял, медленно, но без передышки, раз за разом.

Чем ближе он подходил, тем все яснее и яснее видел, какой разгневанный вид у этого человека. Необыкновенное великолепие его кружевного стихаря невольно заставило Жюльена приостановиться в нескольких шагах от роскошного зеркала.

«Но я все-таки должен его спросить», — наконец решил он. Сумрачная красота этой залы всколыхнула Жюльена, и он уже заранее весь передергивался от тех грубостей, которые вот-вот на него посыплются.

Молодой человек увидел его в зеркале, обернулся и, мгновенно оставив свой сердитый вид, спросил, необыкновенно мягким голосом:

— Ну как, сударь, надеюсь, она наконец готова?

Жюльен остолбенел от изумления. Когда молодой человек обернулся, он увидел его наперсный крест. Это был сам епископ Агдский. «Какой молодой, — подумал Жюльен. — Разве что лет на шесть, на восемь старше меня...»

Ему стало стыдно за свои шпоры.

— Ваше преосвященство, — отвечал он робко, — меня послал к вам ректор капитула, господин Шелан.

— А-а, я слышал о нем много хорошего, — отвечал епископ таким любезным тоном, что восхищение Жюльена еще усилилось. — Но вы уж, пожалуйста, извините меня, сударь, я принял вас за другого. Мне тут должны принести мою митру. Ее так скверно упаковали в Париже, вся парча наверху страшно измялась. Ужас просто, на что это будет похоже, — грустно добавил молодой епископ. — И, извольте, меня еще заставляют дожидаться.

— Ваше высокопреосвященство, я могу пойти за вашей митрой, если ваша милость разрешит.

Прекрасные глаза Жюльена возымели свое действие.

— Пожалуйста, подите, сударь, — ответил епископ с подкупающей вежливостью. — Она мне необходима сейчас же. Мне, право, ужасно неприятно, что я заставляю ждать весь капитул.

Дойдя до середины залы, Жюльен обернулся и увидел, что епископ снова принялся раздавать благословения. «Да что же это такое? — опять подумал он. — Конечно, какой-нибудь предварительный церковный обряд, предшествующий сегодняшней церемонии». Войдя в келью, где находились камерлакеи, он тотчас же увидел у них в руках митру. Невольно уступая повелительному взгляду Жюльена, господа эти вручили ему митру его высокопреосвященства.

Он с гордостью понес ее. Войдя в залу, он замедлил шаг. Он нес митру с благоговением. Епископ сидел перед зеркалом, но время от времени его правая рука усталым движением опять принималась благословлять. Жюльен помог ему надеть митру. Епископ потряс головой.

— Ага, держится, — сказал он Жюльену с довольным видом. — А теперь, будьте добры, отойдите немножко.

Тут епископ очень быстро вышел на середину залы, а потом стал медленно приближаться к зеркалу, торжественно раздавая благословения, и у него опять сделалось очень сердитое лицо.

Жюльен стоял, остолбенев от изумления; ему казалось, что он догадывается, но он не решался этому поверить. Епископ

остановился и, внезапно утратив всю свою суровость, обернулся и поглядел на него.

— Что вы скажете, сударь, о моей митре, хорошо сидит?

— Превосходно, ваше высокопреосвященство.

— Не очень она сдвинута на затылок? А то ведь это придает такой несколько глуповатый вид, но, с другой стороны, если надвинуть пониже на глаза,— будет похоже на офицерский кивер.

— Мне кажется, что она великолепно сидит.

— Король привык видеть вокруг себя почтенное духовенство, у них у всех очень суровый вид. Так вот мне бы не хотелось, в особенности из-за моего возраста, показаться несколько легкомысленным.

И епископ снова принялся расхаживать и раздавать благословения.

«Ясно, — подумал Жюльен, наконец осмелившись допустить свою догадку. — Он упражняется, он учится благословлять».

— Ну, я готов, — заявил епископ спустя несколько минут. — Ступайте, сударь, предупредите господина ректора и господ из капитула.

Спустя некоторое время г-н Шелан и с ним еще два самых престарелых священника вошли через большие украшенные чудесной резьбой двери, которых Жюльен в первый раз даже не заметил. На этот раз он, как ему полагалось по чину, очутился позади всех и мог видеть епископа только через плечи священников, столпившихся у дверей.

Епископ медленно прошел через всю залу; а когда он приблизился к дверям, священники стали в ряды, образуя процессию. После маленькой минутной заминки процессия двинулась вперед, распевая псалом. Епископ шел в самом конце крестного хода, между г-ном Шеланом и еще одним престарелым священником. Жюльен теперь пробрался совсем близко к епископу, как лицо, приставленное к аббату Шелану. Они шли длинными ходами аббатства Брей-ле-О; несмотря на то, что солнце пекло всюю, там было темно и сыро. Наконец они вышли на паперть. Жюльен был в неописуемом восторге от этого великолепного шествия. Молодость епископа подзадоривала его честолюбие, а приветливость этого прелата, его пленительная учтивость совершенно обворожили его. Эта учтивость была совсем непохожа на учтивость г-на де Реналь даже в его лучшие минуты. «Чем ближе к самой верхушке общества, — подумал Жюльен, — тем чаще встречаешь такую приятную обходительность».

Крестный ход вошел в церковь через боковой вход; внезапно древние своды содрогнулись от невероятного грохота; Жюльену показалось, что они вот-вот обрушатся. Но это была все та же маленькая пушечка, ее только что примчали сюда карьером две четверки лошадей, и едва только их выпрягли, как пушечка в руках лейпцигских пушкарей начала палить раз за разом, по пяти выстрелов в минуту, точно перед нею стеной стояли пруссаки. Но этот чудесный грохот уже больше не волновал Жюльена, он уже не вспоминал ни о Наполеоне, ни о воинской славе. «Такой молодой, — думал он, — и уже епископ Агды. А где она, эта Агда? И сколько он получает жалованья? Наверное, тысяч двести, триста франков».

Лакеи его высокопреосвященства внесли роскошный балдахин; г-н Шелан взялся за одно его древко, но на самом деле нес его, разумеется, Жюльен. Епископ вступил под сень балдахина. Уж как-то он там ухитрился, но выглядел он действительно старым; восхищение нашего героя поистине не имело границ. «Всего можно добиться умением да хитростью», — подумал он.

Вошел король. Жюльену выпало счастье видеть его в нескольких шагах от себя. Епископ приветствовал его торжественной речью, позаботившись придать своему голосу легкую дрожь волнения, весьма лестного для его величества. Не будем повторять описаний всех церемоний в Брей-ле-О, — в течение двух недель ими были заполнены столбцы всех газет нашего департамента. Из речи епископа Жюльен узнал, что король был потомок Карла Смелого. Уже много времени спустя Жюльену по долгу службы пришлось проверять счета, относившиеся к этой церемонии. Г-н де ля Моль, который раздобыл своему племяннику епископский жезл, желая оказать ему любезность, взял на себя все расходы. И вот одна только церемония в Брей-ле-О обошлась в три тысячи восемьсот франков.

После речи епископа и ответа короля его величество вступил под балдахин; затем он с величайшей набожностью преклонил колена на подушечке у самого алтаря. Вокруг клироса тянулись ряды кресел, возвышавшиеся на две ступеньки над полом. На нижней ступени, у ног г-на Шелана, сидел Жюльен, словно шлейфносец подле своего кардинала в Сикстинской капелле, в Риме. Затем было молебствие — облака ладана, непрерывная пушечная и мушкетная пальба, все окрестное мужичье было пьяным-пьяно от радости и благочестия. Один такой денек способен свести на нет работу сотни выпусков якобинских газет.

Жюльен находился в шести шагах от короля и видел, что тот молился поистине с пламенным усердием. Тут он впервые заметил невысокого человечка с острым взглядом; на его одежде почти совсем не было золотого шитья. Но поверх этой очень скромной одежды на груди его, перевязанная через плечо, красовалась небесно-голубая лента. Он стоял гораздо ближе к королю, чем многие другие сановники, мундиры которых были до того расшиты золотом, что под ним, как говорил Жюльен, даже и сукна не видно было. Через несколько минут он узнал, что это — г-н де ля Моль. Жюльену он показался надменным и даже заносчивым.

«Вряд ли этот маркиз умеет быть таким любезным, как мой хорошенький епископ, — подумал он. — Ах! вот что значит духовное звание: оно делает человека кротким и мудрым. Но ведь король приехал сюда поклониться мощам, а никаких мощей я не вижу. Где же этот святой Климент?»

Молоденький служка, его сосед, объяснил ему, что святые мощи находятся на самом верху этого здания, в Пылающей Каплице.

«Что это за Пылающая Каплица?» — подумал Жюльен. Но ему не хотелось расспрашивать. Он с удвоенным вниманием стал наблюдать за происходящей церемонией.

Когда монастырь посещается коронованной особой, каноникам по этикету надлежит оставить епископа наедине с высоким гостем. Но епископ Агдский, направляясь вверх, позвал с собой аббата Шелана, а Жюльен осмелился пойти вслед за ним.

Они поднялись по очень высокой лестнице и очутились у крохотной дверцы, готический наличник коей был сверху до низу покрыт богатейшей позолотой. По-видимому, это было сделано только накануне.

Перед самой дверцей стояли коленопреклоненные двадцать четыре молоденькие девушки из самых знатных семей Веррьера. Прежде чем отворить дверцу, сам епископ преклонил колена посреди этих девиц, которые все были очень недурны собой. И, пока он громко возносил молитву, они не сводили с него глаз и, казалось, не могли досыта наглядеться на его удивительные кружева, на его величавую осанку и на его такое молодое, такое ласковое лицо. Это зрелище лишило нашего героя последних крох здравомыслия. В этот миг он, пожалуй, ринулся бы в бой за инквизицию, и ото всей души. Внезапно дверца распахнулась. И взорам присутствующих предстала маленькая часовня, как будто вся обьятая пламе-

нем. Перед ними на алтаре пылала чуть ли не тысяча свечей, они были установлены в восемь рядов, которые отделялись друг от друга пышными букетами цветов. Сладостное благоговение чистейшего ладана клубами несло из дверцы святилища. Часовня была совсем крохотная, но стены ее, сплошь вызолоченные заново, уходили далеко ввысь. Жюльен заметил, что на алтаре иные свечи были вышиной больше пятнадцати футов. Невольные возгласы восхищения вырвались у юных девиц. В маленький притвор часовни только и были допущены эти двадцать четыре девицы, двое священнослужителей и Жюльен.

Вскоре появился король в сопровождении одного только г-на де ля Моля и своего первого камергера. Даже почетные телохранители остались снаружи, коленопреклоненные, с саблями наголо.

Его величество не опустился, а почти что ринулся на колени на бархатную подушку. И тут только Жюльен, притиснутый к золоченой дверце, увидел через голое плечико одной из юных девиц прелестную статую святого Климента. Святой покоился в глубине алтаря в одежде юного римского воина. На шее у него зияла широкая рана, откуда словно еще сочилась кровь. Ваятель превзошел самого себя: угавающие полузакрытые очи были полны небесной благодати, чуть пробивающиеся усики оттеняли прелестные полуотверстые уста, которые как будто еще шептали молитву. От этого зрелища молоденькая девушка, соседка Жюльена, горько расплакалась. Одна ее слезинка упала прямо на руку Жюльену.

Помолившись с минуту в глубоком благоговейном молчании, нарушаемом лишь отдаленным благовестом во всех селах на десять лье в окружности, епископ Агдский попросил у короля позволения сказать слово. Он кончил свою краткую, но очень трогательную проповедь простыми словами, которые потрясли слушателей.

— Не забудьте вовек, юные христианки, что вы видели ныне величайшего из владык земных, преклоняющим колена перед служителем бога всемогущего и грозного. Слабы и гонимы здесь на земле слуги господни и приемлют мучительную кончину, как вы можете видеть по этой кровоточащей и по сей день ране святого Климента, но они торжествуют на небесах. Не правда ли, о, юные христианки, вы сохраните навеки в своей душе память об этом дне и возненавидите нечестие! Вы навсегда останетесь верными господу богу, столь великому, грозному и столь благостному!

И с этими словами епископ величественно поднялся с колен.

— Вы даете обет в этом? — провозгласил он вдохновенно, простирая длань.

— Даем обет, — пролепетали юные девицы, захлебываясь от рыданий.

— Принимая обет ваш во имя господя карающего, — заключил епископ громовым голосом. И на этом церемония была окончена.

Сам король плакал. И только уже много времени спустя Жюльен обрел в себе достаточно хладнокровия, чтобы спросить, а где же находятся кости святого, которые были посланы из Рима Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому. Ему объяснили, что они спрятаны внутри этой прелестной восковой статуи.

Его величество соизволил разрешить всем благородным девицам, сопровождавшим его особу в часовню, носить алую ленту с вышитыми на оной словами: «Ненавижу нечестие. Преклоняюсь до гроба».

Г-н де ля Мольт распорядился раздать крестьянам десять тысяч бутылок вина. А вечером в Веррьере либералы ухитрились устроить иллюминацию на своих домах во сто раз лучше, чем роялисты. Перед отъездом король осчастливил своим посещением г-на де Муаро.

Перевод С. Боброва и М. Богословской

❧ Задания ❧

- ~ Как выглядит Жюльен?
- ~ Чей портрет прятал Жюльен под матрасом? Почему это было так опасно?
- ~ Зачем Жюльену нужно было «укрощать» ручку г-жи де Реналь?
- ~ Какие черты характера боролись в Жюльене в этот момент?
- ~ Как Жюльен относится к окружающим? Понимает ли он их?
- ~ Какой представлялась Жюльену собственная карьера во время приезда короля в Веррьер?
- ~ Как горожане отнеслись к тому, что Жюльен был в свите почетного караула?
- ~ Нравилось ли Жюльену участвовать в этой церемонии?
- ~ Что доставляло ему особенное удовольствие?
- ~ Зачем Жюльен сравнивает себя с молодым епископом?

Оноре де БАЛЬЗАК

(1799—1850)

Деньги управляют и героями романа «Отец Горио», созданного в 1835 году и знаменующего новую ступень в творчестве Бальзака. Это первый роман, в котором автор на первый план выдвинул тему денег, описал их роль в становлении любого характера, в движении каждой судьбы.

Деньги как главный персонаж, символический и реальный образ денег — вот центр этого романа. Именно такой тип изображения действительности имел в виду Бальзак, когда писал, что «идея, ставшая образом, — искусство более высокое».

В романе описана история нескольких семей: Растиньяков, де Ресто, Нюсинженов, Тайферов, де Босеан и Горио. Каждый раз автор показывает, как семейные отношения превращаются в денежные. Эту мысль яснее всего формулирует умирающий Горио: «За деньги купишь все, даже дочерей».

Каждый герой романа представляет отдельную социальную группу и присущие ей воззрения: Горио — буржуазию, Растиньяк — провинциальное дворянство, виконтесса — парижскую аристократию, Воке — мещанство, Вотрен — преступный мир.

Жизненный путь Горио — это история обогащения, основанного на расчете, и падения, свершившегося в тот момент, когда жизнь подчиняется чувству. Растиньяк — олицетворение молодых честолюбцев, наивно верящих, что всего в жизни можно добиться упорным трудом, и начинающих постепенно осознавать, что главная движущая сила общества — если нет богатства и высоких титулов, обеспечивающих первые места в государстве, — полезные связи. Вотрен и виконтесса де Босеан становятся учителями Растиньяка, а их личный опыт — школой жизни для Растиньяка.

Приехавший в Париж учиться Растиньяк хотел «своим трудом достичь богатства». Однако вскоре понял, что в «свете» важнее всего иметь хорошо сшитый фрак. Постепенно герой отказался от юношеских мечтаний и вступил в схватку с Парижем, чтобы победить, то есть стать богатым и известным.

ОТЕЦ ГОРИО

(ФРАГМЕНТЫ)

Великому и прославленному Жофруа Сент-Илеру¹
в знак преклонения перед его трудами и гением.

Бальзак

Госпожа Воке... содержит в Париже меблированные комнаты с пансионом на улице Нёв-Сент-Женевьев, между Латинским кварталом² и предместьем Сен-Марсо³. В комнаты эти, известные под названием «Дом Воке», пускают одинаково мужчин и женщин, молодежь и стариков, но злые языки никогда не могли сказать ничего худого о нравах этого почтенного заведения. Да здесь уже тридцать лет и не было видно ни одной молодой женщины, а если молодой человек поселится тут, значит, родные высылают ему лишь жалкие крохи.

<...> Дом, где сдаются меблированные комнаты с пансионом, принадлежит госпоже Воке. Он расположен в нижней части улицы Нёв-Сент-Женевьев, в том месте, где находится спуск к улице Арбалет, такой крутой, что конные повозки редко проезжают по этому косоугору. Это обстоятельство благоприятствует тишине, царящей в улицах, стиснутых между зданием Валь-де-Грас⁴ и зданием Пантеона⁵, — двумя величественными сооружениями, которые изменяют оттенки атмосферы, отбрасывая в нее желтые тона и всё омрачая в ней суровыми отсветами своих куполов. Мостовые тут сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растёт трава. Грусть охватывает здесь даже самого беззаботного человека, как и

¹ *Этьен-Жофруа Сент-Илер* (1772 — 1844) — выдающийся французский естествоиспытатель, сторонник эволюционного принципа в биологии и теории многообразия видов животных. Бальзак был почитателем его теории.

² *Латинский квартал* — квартал на Левом берегу Сены, где находилось много учебных заведений и жили студенты и профессора.

³ *Предмесье Сен-Марсо* — квартал на Левом берегу Сены, заселенный преимущественно беднотой.

⁴ *Валь-де-Грас* — храм в Париже, вскоре после первой буржуазной революции превращенный в военный госпиталь.

⁵ *Пантеон* — храм Святой Женевьевы, заложенный в XVIII веке, во время революции был превращен в усыпальницу знаменитых людей Франции. Валь-де-Грас и Пантеон — самые высокие здания в Париже, оба расположены в южной части города.

всех прохожих; стук экипажа делается тут событием; дома угрюмы, от высоких стен веет тюрьмой. Случайно забредший сюда парижанин увидел бы лишь плохонькие меблированные комнаты или учебные заведения, нищету или скуку, старость на пороге смерти или жизнерадостную юность, принужденную трудиться. Нет в Париже квартала более ужасного и, прибавим, менее известного. В особенности улица Нёв-Сент-Женевьев — словно бронзовая рама, единственно соответствующая этому рассказу, к восприятию которого необходимо подготовить ум темными красками, суровыми мыслями; так с каждой ступенькой тускнеет дневной свет и глуше звучит протяжный голос проводника, когда путешественник спускается в катакомбы. Верное сравнение! Кто решит, что ужаснее: зрелище иссохших сердец или пустых черепов?

Фасад меблированных комнат выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нёв-Сент-Женевьев, откуда вы его видите сбоку. Вдоль фасада, между садиком и домом, проложена мощенная щебнем дорожка шириной в туаз¹, а перед ней — посыпанная песком аллея, окаймленная геранью, олеандрами и гранатовыми деревьями, посаженными в большие вазы из голубого и белого фаянса. Входят в нее через калитку с вывеской, на которой написано: «Дом Воке», а пониже: «Меблированные комнаты с пансионом — для лиц обоего пола и прочих». Днем, сквозь снабженную пронзительным колокольчиком калитку, видна в конце мощеной дорожки стена, где местный живописец изобразил нишу, разрисовав ее под зеленый мрамор, а перед ней поместил статую амура. <...>

Когда темнеет, сквозная калитка заменяется глухой. Садик, шириной во всю длину фасада, стиснут между оградой, отделяющей его от улицы, и стеной соседнего дома, вдоль которого мантией ниспадает плющ, закрывая его целиком и привлекая взоры прохожих необычной в Париже живописностью. Шпалеры фруктовых деревьев и виноградные лозы покрывают стены садика сверху донизу; их пыльные чахлые плоды ежегодно являются предметом волнений госпожи Воке и ее разговоров с пансионерами. Узкая дорожка вдоль каждой из стен ведет под куцу лип. Между двумя боковыми дорожками находится грядка артишоков, окаймленная щавелем, латуком и петрушкой и обсаженная фруктовыми деревьями, подстриженными в форме веретена. Под сенью лип в землю вкопан

¹ Туаз — старинная мера длины, около двух метров.

круглый стол, покрашенный в зеленую краску и окруженный скамьями. Постояльцы, достаточно богатые для того, чтобы позволить себе роскошь выпить кофе, приходят сюда наслаждаться им в жаркие дни, когда царит такой зной, что можно выводить цыплят без наседки.

Дом в четыре этажа, увенчанный мансардами, выстроен из мелкого камня и окрашен в желтый цвет, придающий столь безобразный вид почти всем парижским домам. В каждом этаже — пять окон с мелким переплетом, снабженных жалюзи, которые все поднимаются по-разному, так что их планки торчат вкривь и вкось. На боковых стенах дома — по два окна, причем в первом этаже они забраны железной решеткой. Позади дома — двор, футов в двадцать шириной, где живут в добром согласии свиньи, куры и кролики; в глубине двора виднеется дровяной сарай. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, под ним устроен сток для помоев. Со двора выходит на улицу Нёв-Сент-Женевьев узкая дверца, в которую кухарка сплавляет отбросы, не жалея воды, во избежание смрада.

В нижнем этаже, приспособленном для использования под пансион, первая комната, с двумя окнами на улицу и застекленной входной дверью, служит гостиной; гостиная сообщается со столовой, отделенной от кухни лестницей с деревянными ступеньками, покрашенными в клетку и навощенными. Нет ничего унылее зрелища этой гостиной; она обставлена креслами и стульями, обтянутыми волосяной материей с матовыми и блестящими полосками вперемежку. Посредине — круглый стол с доской из черного мрамора с белыми крапинками, украшенный белым фарфоровым сервизом с полустертыми золотыми ободками, какой встретишь ныне повсюду. Эта комната с плохо настланным полом обшита панелями, метра в полтора вышиной. Верхняя часть стен оклеена гляцевитыми обоями, иллюстрирующими главнейшие сцены из «Телемака»¹, причем знаменитые герои древности изображены в красках. В простенке между зарешеченными окнами взорам жильцов представляется картина пира, устроенного нимфой Калипсо в честь сына Улисса. Уже сорок лет, как эта картина вызывает шутки молодых пансионеров, мнящих, что они возвышают-

¹ «Приключения Телемака, сына Улисса» — роман французского писателя Фенелона (1651—1715). В одном из эпизодов этого романа повествуется о том, как нимфа Калипсо, влюбившись в Телемака, пыталась удержать его на своем острове.

ся над своим положением, когда подтрунивают над обедом, на который обрекает их нужда. Камин, с неизменно чистым поддувалом, свидетельствующим, что огонь разводится в нем только в особо важных случаях, украшен двумя вазами, полными ветхих искусственных цветов под стеклянными колпаками. Вазы стоят по бокам крайне безвкусных часов из голубоватого мрамора. Эта первая комната издает запах, для обозначения которого нет подходящего слова; его следовало бы назвать запахом пансиона. Он отдает затхлостью, плесенью, прогорклостью; от него пробирает дрожь; он бьет в нос промозглой сыростью, пропитывает одежду; он имеет привкус трактира после обеда; воняет кухней, людской, богадельней. Описать этот запах можно было бы, если бы удалось привести в известность все тошнотворные составные его частицы, которыми отравляют воздух страдающие всевозможными недугами постояльцы, молодежь и старики. И всё же, несмотря на ужасающее убожество гостиной, она, по сравнению со смежной столовой, покажется вам изящной и благоуханной, как подобает будуару. Столовая, сплошь обшитая деревом, была некогда выкрашена в неподдающийся ныне определению цвет; он образует фон, на котором грязь наслоилась в виде фигур с причудливыми очертаниями. По стенам — липкие буфеты; на них мутные графины с отбитыми горлышками, металлические подставки с волнистым рисунком, стопки тарелок из толстого фарфора с голубой каемкой — изделия завода в Турнэ. В углу помещается ящик с нумерованными отделениями; в нем хранятся покрытые пятнами или залитые вином салфетки пансионеров. Тут встретишь несокрушимую мебель, изгнанную отовсюду, но нашедшую место здесь, подобно обломкам цивилизации, прозябающим в убежище для хроников. Вы увидели бы тут барометр с капуцином, вылезающим во время дождя, отвратительные, отбивающие аппетит, гравюры, вставленные в крашеные деревянные рамки с облезлой позолотой; черепаховые часы с медной инкрустацией; зеленую печь; лампы системы Аргана, где столько же пыли, сколько масла; длинный стол, покрытый клеенкой, до того засаленной, что путешник-постоялец может написать на ней свою фамилию, пользуясь пальцем как стилосом¹, искаленные стулья; жалкие плетеные половички, расстилающиеся бесконечной лентой; затем убогие, продырявленные жаровни, с испорченными шарнирами и обуглившимися ручками.

¹ *Стилос* — заостренная палочка для письма.

Чтобы объяснить, насколько вся эта утварь ветха, дырява, гнила, шатка, источена, безнога, крива, увечна, хила, понадобилось бы описание, которое слишком затянуло бы этот рассказ, чего не простили бы автору люди, которым недосуг. На бурых плитах пола — выбоины от шарканья или многократной окраски. Словом, тут царство нищеты без поэзии; нищеты скаредной, сосредоточенной, потертой. Если в ней еще и нет грязи, то есть пятна; если нет ни дыр, ни лохмотьев, всё же она готова рассыпаться грухой.

Комната эта предстает во всем своем блеске около семи часов утра, когда кот госпожи Воке, предшествуя хозяйке, вскакивает на буфеты, обнюхивает прикрытые тарелками миски с молоком и мурлычет свою утреннюю песенку. Вскоре показывается вдова, наряженная в тюлевый чепец, из-под которого выбивается прядь кое-как прилаженных накладных волос; она идет, шаркая стоптанными туфлями. Ее староватое, заплывшее жиром лицо, посредине которого торчит нос, похожий на клюв попугая, пухленькие ручки, тело, раздобревшее, как у церковной крысы, слишком полный колышущийся стан — всё в ней гармонирует с этой столовой, где стены сочатся горем, где притаились темные делишки, гармонирует с теплым, смрадным воздухом, который госпожа Воке вдыхает, не ощущая тошноты. Ее лицо, холодное, как первый осенний заморозок, окруженные сетью морщинок глаза, то выражающие застывшую улыбку танцовщицы, то глядящие сурово, как у ростовщика, — словом, вся ее особа объясняет пансион так же, как сам пансион предполагает наличие ее особы. Каторжная тюрьма не обходится без надзирателя, одно без другого представить себе нельзя. Бесцветная одутловатость этой маленькой женщины — итог этой жизни, как тиф — следствие больничных испарений. Нижняя шерстяная вязаная юбка, выглядывающая из-под верхней, перешитой из старого платья, с ватой, торчащей сквозь прорехи расползающейся материи, резюмирует гостиную, столовую, палисадник, предвещает свойства кухни и дает возможность заранее представить себе постояльцев. Когда госпожа Воке тут, картина закончена. Ей под пятьдесят, и она походит на всех женщин, выдавших на своем веку горе. <...>

Приходящие пансионеры, по общему правилу, только обедали; это стоило тридцать франков в месяц. В ту пору, когда начинается эта повесть, в пансионе было семь постояльцев. Во втором этаже находились самые лучшие помещения. В одном, поменьше, обитала сама госпожа Воке, другое занимала госпожа Кутюр, вдова военного комиссара — казначея

армий Республики. С ней жила весьма юная особа, Викторина Тайфер, которой госпожа Кутюр заменяла мать. Плата за полный пансион этих двух дам составляла тысячу восемьсот франков в год. Комнаты третьего этажа были заняты: одна — стариком по фамилии Пуаре, другая — человеком лет сорока, носившим черный парик, красившим бакенбарды и выдававшим себя за бывшего коммерсанта; его звали господин Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из которых одну снимала старая дева, мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант макарон, вермишели и крахмала, который позволял называть себя запросто папашей Горио. Две другие комнаты были предназначены для перелетных птиц — горемычных студентов, которые, подобно папаше Горио и мадемуазель Мишоно, могли платить не больше сорока пяти франков в месяц за стол и квартиру; но госпожа Воке не очень-то их жаловала и пускала только за неимением лучшего: они ели слишком много хлеба.

В ту пору одна из этих комнат была занята молодым человеком, прибывшим из окрестностей Ангулема в Париж изучать право; семья, возлагавшая на него все свои надежды, обрекала себя на жесточайшие лишения, чтобы высылать ему тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк — так его звали — был один из тех молодых людей, житейскими невзгодами приученных к труду, которые с юного возраста понимают, что являются единственной опорой своих родителей и готовят себе блестящую карьеру, заранее вычисляя все выгоды, какие смогут извлечь из своих университетских занятий, и заблаговременно принаравливая эти занятия к ходу развития общества, чтобы оказаться первыми в ряду тех, кто выжимает из него соки. Без его любознательных наблюдений, без той ловкости, с которой он втерся в парижские салоны, этот рассказ не был бы расцвечен теми правдивыми тонами, которыми он несомненно будет обязан проницательному уму Растиньяка и его желанию проникнуть в тайны ужасающего положения вещей, скрываемого одинаково тщательно как виновниками этого положения, так и теми, кто стал жертвою его. <...>

Кроме семи пансионеров, живших в доме, у госпожи Воке столовались, что ни год, семь-восемь студентов, юристов или медиков и еще два-три давних посетителя, живших по соседству и пользовавшихся только обедом. В столовой садилось обедать восемнадцать человек, а поместиться могло и двадцать; но по утрам в ней сходилась только семеро жильцов, собрание которых за завтраком представляло картину семейной трапезы. Все являлись в ночных туфлях, откровенно

обменивались замечаниями по поводу одежды и замашек проходящих пансионеров, по поводу событий вчерашнего вечера, выражаясь без стеснений, как в кругу близких друзей. Эти семеро пансионеров были баловнями госпожи Воке, с математической точностью соразмерявшей свои заботы и внимание с цифрой их платы за стол и квартиру. Обитатели дома Воке несли на себе бремя более или менее явных невзгод. Истрепанные костюмы нищих постояльцев дома представляли такое же безотрадное зрелище, как и его обстановка. Мужчины носили сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь вроде той, какую в зажиточных кварталах выбрасывают на улицу, проношенное белье, одежду, которая вся разлезалась. На женщинах были старомодные, крашеные и перекрашенные платья, старые заштопанные кружева, перчатки, лоснившиеся от долгого употребления, порыжелые воротнички и дырявые косынки. Но не в пример своей одежде, почти все жильцы были крепко скроены, обладали телосложением, сопротивлявшимся житейским бурям, холодными, жесткими лицами, полустертыми, как обесцененная монета. За поблекшими губами виднелись жадные зубы. В этих людях сказывались пережитые или переживаемые ими драмы; не те драмы, которые играют при свете рампы, среди размалеванных декораций, но драмы живые и безмолвные, драмы застывшие, но горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца. <...>

Две личности представляли разительный контраст с остальными постояльцами и завсегдатаями. Хотя мадемуазель Викторина Тайфер нездоровой белизной походила на девушек, страдающих бледной немочью, и своей обычной грустью, застенчивыми манерами, жалким и хилым видом гармонировала с общим страданием, составляющим фон этой картины, всё же лицо ее было не старообразно, голос и движения — не лишены живости. Это юное несчастное создание походило на кустик с пожелтевшими листьями, недавно пересаженный в неподходящую почву. В ее желтовато-розовом лице, рыжеватых волосах, непомерно тонком стане была та прелесть, какую современные поэты ценят в средневековых статуэтках. Темно-серые глаза выражали кротость, покорность воле божией. Простенькое дешевое платье обрисовывало юные формы. Рядом с другими она казалась хорошенькой. Будь она счастлива, она была бы восхитительна: счастье придает женщинам поэтичность, так же как наряд их красит. Если бы веселье бала заиграло яркими тонами на этом бледном личике, если бы нега и роскошь округлили и покрыли румянцем

эти слегка ввалившиеся щеки, если бы любовь оживила эти печальные глаза, Викторина могла бы поспорить красотой с самыми очаровательными девушками. Ей не хватало того, что создает женщину вторично: нарядов и любовных записочек.

Ее история могла бы дать тему для целой книги. Отец Викторины, полагая, что имеет основания не признавать ее своей дочерью, отказался держать ее под своим кровом и выдавал ей всего лишь шестьсот франков в год, обратив почти всё свое имущество в ценные бумаги, чтобы иметь возможность целиком передать его сыну. Ее мать переехала к своей дальней родственнице госпоже Кутюр и вскоре умерла у нее от отчаяния, а та стала заботиться о сироте, как о собственном ребенке. К несчастью, вдова комиссара армий Республики не имела ничего, кроме пенсии и вдовой части в наследстве мужа; бедная, неопытная, лишенная всяких средств девушка со смертью госпожи Кутюр осталась бы одна-одинешенька на свете. Добрая женщина каждое воскресенье водила Викторину к обедне и каждые две недели — на исповедь, чтобы на случай всяких превратностей воспитать в ней благочестие. И она поступала правильно. Религиозное чувство окрыляло верой в будущее это непризнанное дитя, нежно любившее отца и ежегодно направлявшее к нему свои стопы, чтобы передать ему прощение от своей матери; но каждый год она наталкивалась на безжалостно запертую дверь отцовского дома. Брат Викторины, единственный посредник между нею и отцом, за четыре года ни разу не навестил ее и не помог ей. Она молила бога открыть глаза отцу, смягчить сердце брата и безропотно молилась за обоих. Госпожа Кутюр и госпожа Воке не находили в лексиконе бранных слов достаточно сильных выражений, чтобы заклеить жестокость презренного миллионера. Когда они проклинали его, из уст Викторины вырывались кроткие слова, похожие на воркованье раненой горлицы, у которой и в крике боли еще звучит любовь.

...Эжен де Растиньяк наружностью был настоящий южанин: матовый цвет лица, черные волосы, синие глаза. Осанка, манеры, обычная поза — всё в нем обличало дворянского сына, получившего в семье воспитание, согласное с традициями хорошего тона. Правда, он берег одежду и в будни donашивал прошлогоднее платье, но всё же иногда мог выйти из дома одетый, как молодой щеголь. Обычно он носил старый сюртук, плохонький жилет, дрянной черный галстук, полинялый и завязанный кое-как, по-студенчески, панталоны под стать всему остальному и сапоги с чинеными подметками.

Переходной ступенью между этими персонажами и прочими жильцами служил Вотрен, человек лет сорока, с крашеными бакенбардами. Он был из тех, о ком в народе говорят: «Ну и молодчина!» Плечи у него были широкие, грудь колесом, мускулы выпирали наружу, крапивообразные квадратные руки были покрыты на суставах пальцев густыми пучками огненно-рыжих волос. Лицо его, преждевременно изборозженное морщинами, выражало жестокосердие, не вязавшееся с мягкими обходительными манерами. Густой бас, гармонировавший с его грубоватой веселостью, был не лишен приятности. Вотрен отличался услужливостью и любил посмеяться. Если у кого-нибудь портился замок, он мигом разбирал его, чинил, шлифовал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Я это дело знаю». Чего только он не знал: суда, моря, Франция, чужие страны, торговые сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы, — всё было ему знакомо. <...>

К концу третьего года папаша Горио еще сократил свои расходы, перебравшись на четвертый этаж и снизив плату за свое содержание до сорока пяти франков в месяц. Он бросил нюхать табак, отказался от услуг парикмахера и перестал пудрить голову. Когда макаронщик впервые появился без пудры, у хозяйки вырвался взглас изумления; цвет его волос резко изменился — они стали грязно-серыми с зеленоватым оттенком. Лицо его, от тайных огорчений становившееся день ото дня более унылым, казалось теперь печальнее, чем у любого из жильцов пансиона... Когда его прекрасное белье изнашивалось, он заменил его бельем из коленкора по четырнадцать су локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности мало-помалу исчезли. Он расстался со своим васильковым фракком, со всей своей щегольской одеждой и стал носить и летом и зимой грубый суконный сюртук каштанового цвета, жилет из козьей шерсти и серые панталоны из шерстяной дерюги. Он постепенно худел; икры его опали; лицо, некогда раздобревшее от сытого буржуазного благополучия, страшно осунулось и съежилось, лоб избороздился морщинами; резко обозначились челюсти. За четвертый год своего пребывания на улице Нёв-Сент-Женевьев Горио изменился до неузнаваемости. Крепкий, бодрый макаронщик, которому на вид было не более сорока, рослый, толстый буржуа, до смешного свеженький, радовавший своей молодцеватой внешностью взоры прохожих, улыбающийся, как юноша, теперь казался старцем лет семидесяти, дряхлым, придурковатым, мертвенно-бледным. Голубые, прежде полные жизни, глаза сделались мутными,

свинцово-серыми, выцвели; они уже не слезились, но красные края век, казалось, кровоточили. Одним он внушал отвращение, в других возбуждал жалость. Юные студенты-медики, заметив, как отвисла его нижняя губа, и, измерив вершину его лицевого угла, долго приставали к нему и, ничего не добившись, объявили, что он впал в идиотизм. Как-то раз вечером, после обеда, госпожа Воке насмешливо спросила его: «Ну что же, дочки вас больше не навещают?» — ставя под сомнение его отцовство. Папаша Горио вздрогнул, словно хозяйка кольнула его острым ножом.

— Иногда навещают, — ответил он взволнованным голосом.

— А-а! вы иногда еще видите с ними! — закричали студенты. — Браво, папаша Горио!

Но старик не слышал игривых шуточек, вызванных его ответом: он снова впал в задумчивость, которую поверхностный наблюдатель принял бы за старческое оцепенение, происходящее от слабоумия. Если бы они узнали его поближе, то, может быть, живо заинтересовались бы загадкой, какую представляло его физическое и душевное состояние; но это была слишком трудная задача. Можно было навести справки о том, был ли Горио действительно раньше макаронщиком, и о размерах его дохода; но старики, в которых он возбуждал любопытство, не выходили за пределы своего квартала и жили в пансионе вдовы, словно устрицы, приросшие к скале. Остальные же, увлекаемые водоворотом парижской жизни, забывали, едва выйдя за пределы улицы Нёв-Сент-Женевьев, о жалком старце, служившем предметом их насмешек. Этим ограниченным умам и этой беспечной молодежи нищенская жизнь папашы Горио и его видимое тупоумие казались несовместимыми с достатком и с какими бы то ни было умственными способностями. Что касается женщин, которых он называл своими дочерьми, то все разделяли мнение госпожи Воке, которая с неумолимой логикой старух, привыкших вечером судачить и строить всевозможные догадки, заявляла: «Если бы папаша Горио имел таких богатых дочерей, как все эти дамы, которые у него бывают, то он не жил бы в моем пансионе, на четвертом этаже, за сорок пять франков в месяц и не ходил бы, одетый как нищий».

Это умозаключение было неопровержимо. Поэтому в конце ноября 1819 года, в ту пору, когда разыгралась эта драма, у всех пансионеров составилось вполне определенное мнение о бедном старике. У него никогда не было ни дочерей, ни жены; злоупотребление наслаждениями превратило его в улитку, в человекоподобного моллюска из вида «фуражконосных», как

говорил служащий музея естествознания, завсегдатай, пользовавшийся только обедом. Рядом с Горио даже Пуаре был орлом, джентльменом. Пуаре разговаривал, отвечал; правда, разговаривая, рассуждая или отвечая, он не высказывал никаких собственных мыслей, ибо имел обыкновение повторять в иных выражениях то, что было сказано другими, но как-никак он поддерживал разговор, был живым человеком, казался способным что-то чувствовать, между тем как папаша Горио, — прибавлял служащий музея, — постоянно пребывает на точке замерзания. <...>

Эжен, сам того не ведая, уже прошел эту школу раньше, чем он, получив степень бакалавра словесности и права, уехал на каникулы домой. Его детских иллюзий, его провинциальных воззрений — как не бывало. Взгляды его изменились, честолюбие загорелось в нем, и он трезво взглянул на положение дел в отцовской усадьбе, в лоне семьи. Отец его, мать, два брата, две сестры и тетка, всё достояние которой заключалось в пенсии, жили в имении «Растиньяк». Оно давало около трех тысяч франков годового дохода, в зависимости от колебаний цен, которому подвержено виноделие, и, однако, приходилось ежегодно извлекать из него тысячу двести франков для Эжена. Зрелище этой постоянной нужды, великодушно скрываемой от него, невольное сравнение сестер, казавшихся ему в детстве такими красавицами, с парижанками, воплотившими созданный его мечтами тип красоты; ненадежное будущее этой многочисленной семьи, видевшей в нем свою опору; скaredность, с какой расходовались на его глазах самые драгоценные припасы; вино, изготавливаемое для семьи из виноградных выжимок, — словом, множество мелочей, о которых излишне упоминать здесь, удесятерили его желание преуспеть и породили в нем жажду выдвинуться. Человек с благородной душой, он всем хотел быть обязан только собственным заслугам. Но по складу характера Растиньяк был чистокровный южанин; поэтому при переходе к действию его решения должны были подвергнуться колебаниям, охватывающим молодых людей, когда они попадают в открытое море, не зная, ни в какую сторону направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. Сначала он хотел было уйти с головой в работу, но вскоре, убедившись в необходимости создать себе связи, заметил, как велико влияние женщин на общественную жизнь, и принял решение пуститься в высший свет, чтобы завоевать себе там покровительниц; да и как не найти их пылкому и остроумному молодому человеку, остроумие и пылкость кото-

рого выступают еще ярче благодаря изяществу манер и особой нервической красоте, до которой падки женщины? Эти мысли неотступно преследовали его среди полей, во время столь веселых в былые годы прогулок с сестрами, которые нашли в нем большую перемену. Его тетка, госпожа де Марсильяк, когда-то принятая при дворе, имела знакомства среди высшей знати. Молодой честолюбец усмотрел вдруг в воспоминаниях, которыми так часто баюкала его тетка, основу для побед в обществе, по меньшей мере столь же важных, как его успехи на юридическом факультете; он расспросил ее относительно родственных связей, которые можно было бы возобновить. Тряхнув ветви генеалогического древа, старушка пришла к заключению, что из всех родственников, которые могли бы быть полезны ее племяннику, всей эгоистической богатой родни, наименее недоступной окажется виконтесса де Босеан. Она написала молодой женщине письмо в старинном стиле и, вручая его Эжену, сказала, что если он завоюет расположение виконтессы, та поможет ему разыскать других родственников. Через несколько дней по прибытии Растиньяк послал госпоже де Босеан письмо тетушки. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на следующий день. <...>

[В доме виконтессы Босеан из ее разговора с герцогиней де Ланжэ Эжен узнал тайну отца Горио и историю его богатства. В доме графини де Ресто он случайно увидел Горио, с которым прощалась графиня.]

— Кто же это? — воскликнули обе женщины.

* — Дряхлый старик, живущий на два луидора в месяц в предместье Сен-Марсо, подобно мне, бедному студенту; настоящий горемыка, над которым издеваются все; мы называем его «папаша Горио».

— Да вы действительно младенец! — вскричала виконтесса. — Госпожа де Ресто — урожденная Горио.

— Дочь макаронщика, — подхватила герцогиня, — женщина низкого происхождения, представленная ко двору в один день с дочерью кондитера. <...>

— А! Так это ее отец! — произнес студент с ужасом.

— Ну да; у этого чудака две дочери, в которых он души не чает, хотя и та и другая почти отреклись от него.

— Вторая, если не ошибаюсь, замужем за банкиром с немецкой фамилией, бароном Нюсинжен? — сказала виконтесса, глядя на госпожу де Ланжэ. — Ее зовут Дельфина? Не та ли это блондинка, у которой литературная ложа в Опере, она

бывает также в театре Буфф и очень громко смеется, чтобы обратить на себя внимание? <...>

— Они отреклись от отца, — повторял Эжен.

— Ну да, от отца, от своего отца, словом, от отца, — продолжала виконтесса, — и от хорошего отца: говорят, он дал каждой из них по пятисот или по шестисот тысяч приданого, чтобы они были счастливы в замужестве, а себе оставил всего-навсего восемь или десять тысяч франков годового дохода, полагая, что дочери останутся его дочерьми, что он создаст себе у них отрадное вдвойне существование, создаст два дома, где будет окружен любовью и обласкан. Через два года зятя изгнали его из своего общества, как последнего парию. <...>

Слезы навернулись на глаза Эжена, находившегося под свежим впечатлением чистых, святых семейных привязанностей, под властью пленительных юношеских верований и переживавшего первый день на поле брани парижской цивилизации. <...>

— Этот Морио был председателем одной из секций во время Революции; он знал закулисную сторону пресловутого голода и заложил основу своего богатства, продавая в те времена муку в десять раз дороже, нежели она ему стоила. А муки у него было сколько угодно. Ему поставлял ее на огромные суммы управляющий именем моей бабушки. Норио, подобно всему этому люду, конечно, делился доходами с Комитетом общественного спасения. Помню, управляющий говорил бабушке, что она может жить в Гранвилье вполне спокойно, так как ее зерно является превосходнейшим удостоверением в благонадежности. Так вот этот Лорио, поставлявший хлеб рубителям голов, имеет одну лишь страсть. Он, говорят, обожает своих дочерей. Старшую он пристроил в дом Ресто, младшая была привита к лозе барона де Нюсинжен, богатого банкира, разыгрывающего из себя роялиста. Вы понимаете, что во времена Империи зятя скрепя сердце мирились с тем, что у них бывает этот обломок девяносто третьего года; при Буонапарте это еще могло сойти. Но когда вернулись Бурбоны, проstack стал стеснять господина де Ресто, а банкира и подавно. Дочери, может быть и любившие отца по-прежнему, захотели сохранить и козу и капусту — и отца и мужа; они принимали Горио, когда у них никого не было, якобы из любви к нему: «Папенька, приходите, тогда-то, мы будем одни, так нам гораздо приятнее...» — и тому подобное. Но ...истинные чувства отличаются зоркостью и проницательностью: сердце этого несчастного обломка девяносто третьего года обливало

кровью. Он понял, что дочери стыдятся его, что они любят своих мужей, а он мешает зятям. Пришлось пожертвовать собой. И он принес себя в жертву, так как он отец; он сам подверг себя изгнанию. Видя, как довольны этим дочери, он понял, что поступил правильно. Отец и дети были сообщниками в этом семейном преступлении. Мы видим это на каждом шагу. Разве этот папаша Дорио не был бы сальным пятном в гостиной своих дочерей? Да и он скучал бы, ему было бы там не по себе. То, что произошло с этим отцом, может случиться с самой красивой женщиной, всецело отдающей чувству: если она своей страстью докучает возлюбленному, он бежит от нее, делает подлости, чтобы избавиться от нее. Все чувства таковы. Наше сердце — сокровищница: опустошите ее сразу, и вы будете разорены. Мы так же беспощадны к чувству, отдаваемому безраздельно, как и к человеку, не имеющему ни гроша. Отец этот отдал всё. Он в продолжение двадцати лет отдавал свою душу, свою любовь; всё свое состояние он отдал в один день. Когда лимон был выжат, дочери выбросили корку на улицу. <...>

— Папаша Горио изумителен! — сказал Эжен, вспомнив, как старик сплющивал ночью золоченую чашку.

Госпожа де Босеан не слышала его; она задумалась. Молчание продолжалось несколько секунд, и бедный студент оцепенел от смущения, не смея ни уйти, ни остаться, ни заговорить.

— Светское общество подло и зло, — молвила виконтесса. — Как только нас постигнет беда, всегда найдется услужливый друг, чтобы сообщить нам о ней и поворачивая в нашем сердце кинжал, заставляя любоваться его рукояткой

— А! — воскликнула она, увидя Эжена. — Вы здесь!

— Всё еще! — жалобно ответил он.

— Так вот, господин де Растиньяк, обращайтесь с обществом так, как оно того заслуживает! Вы хотите достичь успеха, я помогу вам. Вы измерите глубину женской испорченности, вы изведаете беспредельность презренного мужского тщеславия. Хотя я внимательно читала книгу света, однако в ней оставались страницы, мне неизвестные. Теперь я знаю всё. Чем холоднокровнее вы будете рассчитывать, тем выше вы подниметесь. Разите, не давая пощады, вас будут бояться. Смотрите на мужчин и женщин, как на перекладных лошадей, которым вы предоставите издыхать на очередной станции, и вы достигнете вершины своих желаний. И, однако, вы останетесь ничем, если около вас не будет женщины, которая покровительствовала бы вам. Вам нужна молодая, богатая,

изящная женщина. Но если вас захватит подлинное чувство, прячьте его, как сокровище; пусть никто не догадывается о нем, иначе — вы погибли. Из палача вы превратитесь в жертву. Если вы когда-нибудь полюбите, храните вашу тайну! Не посвящайте в нее никого, не распознав сначала, кому вы открываете свое сердце. Заранее оберегая эту еще не существующую любовь, учитесь не доверять свету. ...Существует нечто, еще более ужасное, чем положение отца, покинутого дочерьми, готовыми желать его смерти, — это соперничество двух сестер. Ресто знатного происхождения; жена его принята в высшем свете, представлена ко двору; но ее сестра, ее богатая сестра, красавица Дельфина де Нюсинжен, жена золотого мешка, изнывает от тоски; зависть снедает ее, от сестры ее отделяет огромное расстояние. Сестра стала для нее чужой, они отреклись друг от друга так же, как отреклись от отца. Поэтому госпожа де Нюсинжен готова вылакать всю грязь между улицей Сен-Лазар и улицей Гренель, лишь бы войти в мою гостиную. Она думала достичь цели с помощью де Марсэ и сделалась его рабой; она изводит де Марсэ, а он перестал обращать на нее внимание. Если вы представите мне Дельфину, вы станете ее кумиром, она будет обожать вас. Полюбите ее после, если сможете, а если нет, — заставьте служить себе. Она явится ко мне раза два на большие рауты, когда у меня будет толпа гостей, но я никогда не приму ее днем. Я буду здороваться с ней, этого достаточно. Произнеся имя отца Горио, вы заперли перед собой двери дома графини. Да, дорогой мой, сколько бы вы ни ходили к госпоже де Ресто, всякий раз ее не будет дома. Приказано вас не принимать. Так пусть же Горио поможет вам проникнуть к Дельфине де Нюсинжен! Красавица де Нюсинжен послужит вам вывеской. Станьте ее избранником, и женщины будут от вас без ума. Ее соперницы, ее подруги, лучшие подруги, захотят отбить вас у нее. Многие женщины влюбляются в мужчину, уже избранного другой женщиной, подобно мещанкам, которые, перенимая фасоны наших шляп, надеются перенять наши манеры. Вы будете иметь успех. В Париже успех — все, это ключ к власти. Стоит женщинам признать в вас ум, талант, — и мужчины поверят этому, если только вы их не разочаруете. Вы сможете тогда дать простор всем своим желаниям, перед вами будут открыты все двери. Вы узнаете тогда, что светское общество представляет собой сборище простофиль и мошенников. Не будьте ни среди тех, ни среди других. Я даю вам свое имя, как нить Ариадны, чтобы пойти в этот лабиринт. Не компрометируйте

его, — сказала она, выпрямляясь и бросая на студента царственный взгляд, — верните мне его незапятнанным.

— Если вам понадобится человек, готовый пойти и взорвать мину... — перебил ее Эжен.

— Так что же? — сказала она.

Он ударил себя в грудь, улыбнулся в ответ на улыбку кузины и вышел. <...>

...Юноша его лет, оскорбленный презрением, горячится, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, хочет отомстить за себя и в то же время сомневается в себе. В эту минуту Растиньяк был удручен словами: «Вы заперли перед собой двери дома графини».

«Пойду! — думал он. — И если госпожа де Босеан окажется права, если приказано не пускать меня... я... Госпожа де Ресто найдет меня во всех салонах, где она бывает. Я научусь фехтовать, стрелять из пистолета, я убью ее Максима!»

«А деньги? — кричал ему рассудок. — Где же ты возьмешь денег?»

Он хотел последовать советам госпожи де Босеан и ломал себе голову над тем, где и как раздобыть денег. В тревоге взирал он на развернувшиеся перед его глазами саванны света, пустынные и в то же время изобильные.

[Эжен отправился в свою комнату, где написал матери следующее письмо.]

«Дорогая маменька, подумай, нет ли у тебя третьей груди, чтобы напитать меня. Обстоятельства складываются так, что я могу быстро преуспеть. Мне во что бы то ни стало нужно тысячу двести франков. Не говорите ничего о моей просьбе отцу, он, быть может, воспротивится, а если я не получу этих денег, то впаду в отчаяние, которое может привести меня к самоубийству! Объясню тебе всё подробно, когда мы увидимся, а пришлось бы исписать томы, чтобы ты поняла мое положение. Я не проигрался, дорогая маменька, не наделал долгов; но если ты хочешь сохранить жизнь, которую ты мне дала, то найди эту сумму. Словом, я бываю у виконтессы де Босеан, она взяла меня под свое покровительство. Я должен вращаться в свете, а у меня нет ни одного су на чистые перчатки. Я готов есть один хлеб, пить одну воду, голодать, если надо, но я не могу обойтись без орудий, которыми в этих краях искапывают виноградники. Мне предстоит либо проложить себе дорогу, либо увязнуть в грязи. Я знаю, какие надежды вы возлагаете на меня, и я хочу ускорить их осуществление. Маменька, продай что-нибудь из своих фамильных драгоцен-

ностей, вскоре я заменю их другими. Я достаточно хорошо знаю положение нашей семьи и сумею оценить такие жертвы; поверь, они будут не напрасны, иначе я был бы чудовищем. Лишь властная необходимость могла исторгнуть у меня эту просьбу, так и смотри на нее. Всё наше будущее зависит от этой поддержки, с этими деньгами я должен открыть военные действия, ибо жизнь в Париже — непрерывная битва! Если для пополнения этой суммы нет иного средства, кроме продажи тетушкиных кружев, скажи ей, что я пришлю взамен, другие, еще лучшие...» и т. д.

Он написал обеим сестрам, прося их прислать свои сбережения, а чтобы в семье не было разговоров о жертве, которую они, конечно, с величайшей радостью принесут ему, он обратился к их чуткости, затронув струны чести, столь туго натянутые и столь отзывчивые в юных сердцах. И всё же, окончив эти письма, Эжен ощутил невольную дрожь: он содрогался, он трепетал. Молодой честолюбец знал безупречное благородство этих заточенных в уединении душ; ему было ясно, на какие лишения он обрекает сестер и как велико будет вместе с тем их счастье, с какой радостью они будут беседовать тайком, в укромном уголке сада, о любимом брате. Его сознание озарилось вдруг ярким светом; ему показалось, что он видит, как сестры пересчитывают украдкой свое маленькое сокровище, как они пускают в ход лукавую девичью изобретательность, чтобы послать ему эти деньги потихоньку, и, совершая подвиг, впервые пытаются прибегнуть к обману. «Сердце сестры — алмаз чистоты, бездна нежности! — подумал он. Ему делалось стыдно, что он написал им. Какая сила заключена в их молитвах, как чист порыв их душ к небесам! С каким упоением готовы они пожертвовать собой! Как будет огорчена его мать, если не сможет выслать всю сумму! И эти прекрасные чувства, эти великие жертвы послужат для него лишь трамплином, чтобы добиться благосклонности Дельфины де Нюсинжен! Несколько слезинок скатилось из его глаз — последние крупинцы фимиама, брошенные на священный алтарь семьи. В смятении, охваченный отчаянием, шагал он взад и вперед по комнате. <...>

На другой день Растиньяк отнес письма на почту. Он колебался до последнего мгновения, но всё же опустил их в ящик со словами: «Я добыюсь своего!» — слова игрока, великого полководца, роковые слова, которые чаще губят людей, нежели спасают.

<...> Студент забросил занятия. Он ходил в университет лишь для того, чтоб показаться на проверке и тотчас улизнуть.

Он стал рассуждать так же, как большинство студентов, и отложил занятия до экзаменов, решив отмечаться в посещении лекций на втором и третьем курсах, а затем напоследок застесаться за право и изучить его сразу. Таким образом он выгадывал пятнадцать месяцев для плаванья по парижскому океану для погони за женщинами, для поисков богатства. <...>

Желая в совершенстве изучить поле предстоящей битвы, прежде чем попытаться взять на бордаж дом Нюсинжен, Растиньяк решил разузнать подробности о прошлом панаши Горио и собрал достоверные сведения, которые в основном сводились к следующему.

Жан Жоасэн Горио до революции был простым рабочим-макаронщиком, искусным, бережливым и настолько предприимчивым, что купил дело своего хозяина, случайно ставшего жертвой первого восстания 1789 года. Он водворился на улице Жюсьен, близ Хлебного рынка, проявил недюжинный здравый смысл, согласившись стать председателем секции; это обеспечило его торговым операциям покровительство некоторых влиятельных лиц. Предусмотрительность Горио положила начало его богатству, возросшему во время голода, действительного или искусственно созданного, который привел в Париже к огромному повышению цен на хлеб. Народ устраивал кровавые побоища возле булочных, а тем временем некоторые люди тайком покупали вермишель и макароны в бакалейных лавках.

За этот год гражданин Горио нажил капитал, послуживший ему для того, чтобы впоследствии значительно расширить свое предприятие и извлечь пользу из всех тех преимуществ, какие дает коммерсанту обладание значительной суммой денег. С ним произошло то, что происходит со всеми людьми, имеющими способности лишь в одной определенной сфере. Посредственность спасла его. Вдобавок, его богатство стало известно лишь тогда, когда быть богатым уже не представляло опасности, поэтому он ни в ком не возбуждал зависти. Хлебная торговля, казалось, поглотила все его помыслы. Когда дело шло о зерне, муке, отрубях, об определении их качества и происхождения, о наблюдении над их сохранностью, о предвидении колебаний цен, о предугадывании сильного урожая или недорода, о закупке зерна по той или иной цене, о заготовках в Сицилии, на Украине, — Горио не имел себе равного. Наблюдая, как он делает свои дела, объясняет законы о ввозе и вывозе зерновых хлебов, изучает дух этих законов и подмечает их недостатки, иной признал бы его человеком, пригодным для поста мини-

стра. Терпеливый, деятельный, энергичный, упорный, всюду поспевающий, он в делах обладал орлиным взором, опережал всех, все предвидел, все скрывал; он был дипломатом в своих замыслах, военным — в своих действиях. Вне своей специальности, вне скромной, безвестной лавки, на пороге которой он сиживал в свободные часы, опершись плечом о косяк двери, он снова делался человеком тупым и грубым, неспособным понять простое рассуждение, нечувствительным ко всем духовным наслаждениям; человеком, который дремлет в театре, одним из парижских Долибанов¹, сильных только в глупости. Почти все люди такого склада похожи друг на друга. В сердце почти каждого из них вы найдете какое-нибудь возвышенное чувство. Два чувства, исключавшие все остальные, заполняли сердце макаронщика, поглощали его способность любить, подобно тому, как хлебная торговля захватила все его умственные способности. Его жена была для него предметом набожного поклонения и безграничной любви. Горио преклонялся перед этой хрупкой и сильной, чувствительной и прекрасной душой, столь резко отличной от его собственного склада. После семи лет безоблачного счастья Горио потерял жену: в ту минуту она начала приобретать власть над ним и вне сферы чувств. Быть может, она перевоспитала бы эту косную натуру, быть может — заронила бы в нее способность понимать мир и жизнь. Когда Горио лишился жены, отеческая любовь развилась в нем до безумия. Свою привязанность, над которой насмеялась смерть, он перенес на двух дочерей, захвативших все его чувства, решил остаться вдовцом, несмотря на блестящие предложения, которые делали ему купцы и фермеры, стремившиеся выдать за него дочерей. Тесть его, единственный человек, к которому он был расположен, недаром утверждал, что Горио поклялся хранить верность покойной жене. Хлеботорговцы, неспособные понять это возвышенное безумие, потешались над Горио и дали ему какое-то чудное прозвище. Но первый же, кто вздумал произнести его за бутылкой вина, после удачной сделки, получил от макаронщика удар кулаком в плечо, от которого полетел кубарем и ударился головой о тумбу. Безрассудная преданность, ревнивая, нежная любовь Горио к дочерям была так хорошо известна, что как-то раз один из конкурентов, желая удалить его с рынка, чтобы диктовать цены самому, сказал ему, что Дельфина только что

¹ Долибан — тип недалекого старого отца, поглощенного заботами о своей дочери, из популярной в свое время во Франции комедии Дефоржа «Глухой, или Переполненная гостиница».

попала под кабриолет. Макаронщик, бледный, помертвевший, тотчас же ушел с рынка. Он проболел несколько дней вследствие потрясения, вызванного противоречивыми чувствами, в которые погрузила его ложная тревога. Он не нанес этому человеку сокрушительного удара в плечо, но зато впоследствии совсем выжил его с рынка, воспользовавшись критической для него минутой и доведя до банкротства.

Воспитание дочерей Горио было, понятно, неразумным. Имея шестьдесят тысяч франков годового дохода и не тратя на себя и тысячи двухсот, он все свое счастье видел в удовлетворении прихотей дочек; приглашались превосходнейшие учителя, чтобы наделить их талантами, свидетельствующими о хорошем воспитании; к ним была приглашена компаньонка — по счастью, женщина с умом и вкусом; они катались верхом, имели свой выезд, жили так, как жила в старину любовница богатого престарелого вельможи; им достаточно было выразить желание, и отец старался удовлетворить его, сколько бы это ни стоило; взамен он просил только ласки. Горио считал своих дочерей ангелами и — бедняга! — ставил их, конечно, несравненно выше себя. Он наслаждался даже страданиями, которые они ему причиняли. Когда его дочери были на выданье, он предоставил им избрать мужа по своему вкусу; каждая получила в приданое половину состояния отца. Красавица Анастаси, руки которой добивался граф де Ресто, обладала аристократическими наклонностями, побудившими ее покинуть отчий дом, чтобы устремиться в высшие сферы общества. Дельфина любила деньги и вышла замуж за Нюсинжена, банкира, немца по происхождению, ставшего бароном Священной Римской империи. Горио остался по-прежнему макаронщиком. Дочери и зятья вскоре стали брезгливо морщиться, видя, что он продолжает торговлю, а в ней заключалась вся его жизнь. Пять лет подряд они настойчиво уговаривали старика, пока тот не согласился уйти на покой с капиталом, образовавшимся из сумм, вырученных от продажи предприятия и из прибылей последних лет; все это приносило, по расчетам госпожи Воке, у которой он поселился, от восьми до десяти тысяч франков в год. Горио бросился в этот пансион в порыве отчаяния, овладевшего им, когда обе дочери, по настоянию мужей, не только отказали ему в крове, но даже и видиться с ним стали лишь украдкой. Этими данными ограничивалось все, что знал о папаше Горио некий господин Мюре, купивший его торговое дело. Таким образом, предположения, высказанные герцо-

гинеи де Ланжэ в присутствии Растиньяка, подтвердились. На этом кончается изложение сей безвестной, но страшной парижской трагедии.

fin. — Finis.

[Вотрен делает предложение Растиньяку.]

Пятидесяти тысяч доходных мест не существует. В Париже всего лишь двадцать главных прокуроров, а вас двадцать тысяч кандидатов, среди которых попадаются молодчики, готовые продать всю свою родню, только бы добиться повышения в чине. Если эта профессия вам претит, подберем что-нибудь другое. Не хочет ли барон де Растиньяк стать адвокатом? Прекрасно! Придется в течение десяти лет претерпевать хождение по мукам, проживать по тысяче франков в месяц, обставить кабинет, приемную, бывать в свете, заискивать перед стряпчими, чтобы получить судебные дела, подличать языком во Дворце правосудия! Если бы это ремесло дало вам благополучие, я не возражал бы. Но найдите мне в Париже хоть пять адвокатов, которые к пятидесяти годам зарабатывают больше пятидесяти тысяч франков! Я предпочел бы стать пиратом, чем так унижаться. А чем существовать эти годы? Все это не очень весело. Нас может выручить из беды большое приданое. Не хотите ли жениться? Это значит навязать себе камень на шею; кроме того, если вы женитесь из-за денег, что станется с вашим чувством чести, с вашим благородством? Уж лучше сразу поднять бунт против людских условностей. Жениться из-за денег — значит пресмыкаться перед женой, лизать пятки теще, барахтаться в такой грязи, что и свинье было бы тошно, — тьфу! Если бы вы, по крайней мере, нашли счастье! Но вы не оберетесь его с женщиной, на которой женились из корыстных побуждений. Лучше уж воевать с мужчинами, чем вести борьбу с собственной женой! Вот перекресток, от которого расходятся жизненные пути, — выбирайте, молодой человек! Вы уже выбрали: вы побывали у вашей кузины де Босеан и понюхали роскоши. Вы побывали у господина де Ресто, дочери папаши Горюи, и почуяли парижанку. Когда в тот день вы вернулись домой, на вашем лице было написано одно слово — я разобрал его без труда «Выдвинуться! Выдвинуться во что бы то ни стало!» Bravo! — подумал я, вот подходящий для меня молодчик. Вам понадобились деньги. Где же их взять? Вы отобрали последнее у сестер. Все братья, одни больше, другие меньше, обирают сестер. Ваши полторы тысячи франков, сколоченные бог весть как в крае, где больше каштанов, чем пятифранковиков, разойдутся мигом, что

солдаты-мародеры. А что вы станете делать потом? Работать? Труд, как вы его понимаете теперь, дает, под старость апартаменты у мамыши Воке таким молодцам, как Пуаре. Быстро разбогатеть — над разрешением этой задачи бьются в этот момент пятьдесят тысяч молодых людей, находящихся в одинаковом с вами положении. Вы — один из их числа. Судите сами, какие усилия вам предстоят, с каким остервенением ведется борьба. Вам приходится пожирать друг друга, как паукам в банке: ведь пятидесяти тысяч тепленьких местечек нет. Знаете ли вы, как здесь прокладывают себе дорогу? Блеском гения или ловкостью пролазы, не брезгающего подкупом. В эту людскую массу надо либо врезаться, как пушечное ядро, либо прокрасться, как чума. Честность ничего не дает. Перед властью гения склоняются, его ненавидят, его стараются оклеветать, так как он не делится добычей ни с кем; но всё же, пока он главенствует, ему покоряются; словом, перед ним благоговейно преклоняют колена, если не удалось втоптать его в грязь. Таланты редки, продажность всеобща. Вот почему продажность — оружие посредственности, которая кишит вокруг, и вы всюду натолкнетесь на продажность. Вы увидите женщин, мужья которых получают всего-навсего шесть тысяч франков в год, а жены тратят больше десяти тысяч на наряды. Вы увидите чиновников с окладом в тысячу двести франков, а они покупают поместья. Увидите женщин, продающих себя ради того, чтобы прокатиться в карете сына пэра Франции, имеющего право ехать в Лоншане по средней аллее: вы видели уже, как жалкий глупец, папаша Горио, вынужден был уплатить по векселю, подписанному его дочерью, муж которой имеет пятьдесят тысяч франков годового дохода. Ручаюсь, что вы не сделаете в Париже и двух шагов без того, чтобы не натолкнуться на адские интриги. Бьюсь об заклад — ставлю свою голову против кочана капусты, — что вам уготовано осиное гнездо у первой же женщины, которая вам понравится, даже если она богата, красива и молода. Все они не в ладах с законом, «все воюют со своими мужьями из-за всего. Я никогда не кончил бы, вадумай я объяснять вам, на какие сделки идут ради любовников, тряпок, детей, семьи или ради удовлетворения тщеславия, — редко во имя добродетели, уверяю вас. А потому честный человек — всеобщий враг. Но кого вы считаете честным? В Париже честен тот, кто действует втихомолку и отказывается делить добычу. Я не говорю о жалких илотах, которые везде тянут лямку, никогда не получая награды за свои труды, я называю их нищей братией

христовой. Конечно, среди них царит добродетель во всем расцвете своей глупости, там же свила себе гнездо и нищета. Воображаю, как вытянулись бы лица у этих праведных людей, если бы господь бог сыграл с ними злую шутку и не явился на Страшный суд. Итак, если вы хотите быстро нажить состояние, вам надо уже быть богатым или казаться таковым. Чтобы разбогатеть здесь, надо ставить крупные ставки, иначе вас окорнают — и дело с концом!

Сделайте соответствующие выводы. Вот жизнь, как она есть. Это нисколько не лучше кухни, точь-в-точь такая же вонь, — и приходится марать руки, если хочешь лакомых блюд; умейте только хорошенько смыть грязь — в этом вся мораль нашего времени, Я говорю так о людях потому, что имею на это право: я их знаю. Вы думаете, я хую их? Нисколько! Они всегда были такими. Моралисты никогда не изменят мира. Человек несовершенен. Иной лицемерит больше, другой меньше, и в соответствии с этим глупцы называют одного нравственным, другого — безнравственным. Я не осуждаю богатых, чтобы возвеличить простой народ. Человек везде одинаков — наверху, внизу, посередине. На каждый миллион этого двуногого скота приходится десяток молодцов, которые ставят себя выше всего, даже выше законов! Я один из них. Если вы человек незаурядный — идите к цели напрямик, высоко держа голову. Но вам придется бороться с завистью, с клеветой, с посредственностью, со всем светом. Испытайте себя хорошенько. Каждое утро — проверяйте, стала ли ваша воля тверже, чем была накануне. Учитывая всё это, я предложу вам сейчас одну сделку, от которой никто не отказался бы. Выслушайте меня внимательно! Я, видите ли, задумал кое-что. Моя мечта — зажить патриархальной жизнью в большом поместье, этак тысяч в сто арпанов, на юге Соединенных Штатов. Я хочу стать плантатором, завести рабов, добыть несколько миллиончиков продажей волов, табака, леса, жить по-королевски, исполняя все свои прихоти, вести такую жизнь, о какой люди и не помышляют тут, ютясь в каменных норах. Я — большой поэт. Мои стихи неписанные, они — в моих действиях и чувствах. Сейчас в моем распоряжении всего пятьдесят тысяч франков; на это едва можно купить сорок негров. Мне нужно двести тысяч франков — я хочу приобрести двести негров, чтобы удовлетворить свой вкус к патриархальной жизни. Негры, видите ли, те же дети, с которыми можно проделывать все, что угодно, не рискуя, что любопытный королевский прокурор потребует вас к ответу. С этим чер-

ным капиталом я в десять лет наживу три-четыре миллиона. Если мне это удастся, никто и не спросит меня: «Кто ты?». Я буду господин Четыре Миллиона, гражданин Соединенных Штатов. Мне будет пятьдесят, из меня еще песок не будет сыпаться, я поживу в свое удовольствие. Короче говоря, если я вам доставлю приданое в миллион, дадите вы мне двести тысяч франков? Двадцать процентов за комиссию, — разве это много? Вы позаботитесь, чтобы ваша женушка влюбилась в вас по уши. После свадьбы вы начнете проявлять тревогу, угрызения совести, будете недели две притворяться опечаленным. Как-нибудь ночью, поломав комедию, вы объявите жене, между двумя поцелуями, что у вас двести тысяч франков долга, и скажете ей при этом: «Люблю тебя!». Этот водевиль разыгрывается ежедневно самыми знатными молодыми людьми. Молодая женщина охотно отдает кошелек тому, кто владеет ее сердцем. Не думайте, что вы останетесь в убытке. Нет! Вы найдете способ вернуть свои двести тысяч, обделав какое-нибудь дельце. Располагая деньгами, вы при вашем уме наживете какое угодно состояние. Следовательно, в полгода вы осчастливите себя, свою любезную супругу и дядюшку Вотрена, не говоря о вашей семье, которая, за недостатком дров, зимой согревает руки собственным дыханием. Не удивляйтесь тому, что я вам предлагаю, ни тому, что требую от вас.

[Вотрен предложил Растиньяку жениться на Викторине Тайфер, отец которой не признает ее родной дочерью. Единственным наследником всего состояния Тайферов является брат Викторины, который, может, например, погибнуть на подстроеной дуэли.

Растиньяк отказывается.]

[Горио умер, дочери не приехали его хоронить, на церемонии был только Растиньяк.]

Эжен взглянул на могилу и схоронил в ней последнюю слезу, исторгнутую святыми волнениями чистого, юного сердца, одну из тех слез, которые, упав на землю, возносятся к небесам. Скрестив на груди руки, он стал созерцать облака.

Оставшись один, Растиньяк прошел несколько шагов вверх по кладбищу и увидел Париж, раскинувшийся по обоим берегам Сены; кое-где уже зажигались огни. Он вперил взор в пространство между Вандомской колонной и куполом Дома инвалидов — туда, где обитал высший свет, цель его стремлений. Он окинул этот жужжащий улей жадным взглядом, словно предвкушая, как высосет из него мед, и гордо воскликнул:

— А теперь — мы с тобой поборемся!

Перевод А. Кулишер

❧ Задания ❧

- ❧ Как Бальзак описывает пансион мадам Воке?
- ❧ Какие планы строил Эжен относительно своей карьеры?
- ❧ Что изменило его решение добиваться своих целей праведным путем?
- ❧ Какова роль письма матери и сестрам в развитии характера Эжена?
- ❧ Какие наставления дает Эжену виконтесса Босеан? Что повлияло на ее отношение к людям?
- ❧ Почему виконтесса де Босеан учит Эжена Растиньяка скрывать свои чувства?
- ❧ Какое предложение каторжника Вотрена не принимает Растиньяк и почему?
- ❧ Как обеспечил отец Горио своих дочерей? Чего он не дал своим детям?
- ❧ Почему герцогиня де Ланже то и дело путает фамилию отца Горио?
- ❧ Почему Растиньяк сочувствует отцу Горио?
- ❧ Чем схожи судьбы отца Горио и Эжена Растиньяка?

Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллз

УАЙЛЬД

(1854—1900)

В сказке «Счастливый Принц» (1888) живой принц не знал слез, он жил во дворце Беззаботности за высокой стеной, отделавшей придворный сад от города, и только после смерти, изваянный в виде статуи, смог познать скорбь людей и научился им сострадать. Принц в буквальном смысле слова раздал себя бедным: ласточка снимала с него драгоценные камни и листочки золота и относила беднякам. Статую убрали с городской площади: «В ней нет уже красоты, а стало быть, нет и пользы!» — сказал Профессор Эстетики. Так Уайльд стремился развенчать чуждый ему утилитарный подход к красоте. И парадоксальным образом противоречил сам себе: красота Принца заключалась в желании быть полезным людям.

СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ

На высокой колонне, над городом, стояла статуя Счастливого Принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги.

Все восхищались Принцем.

— Он прекрасен, как флюгер-петух! — изрек Городской Советник, жаждавший прослыть за тонкого ценителя искусств. — Но, конечно, флюгер куда полезнее! — прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности; а уж в этом он не был повинен.

— Постарайся быть похожим на Счастливого Принца! — убеждала разумная мать своего мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. — Счастливый Принц никогда не капризничает!

— Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец! — пробормотал гонимый судьбой горемыка, взирая на эту прекрасную статую.

— Ах, он совсем как ангел! — восхищались Приютские Дети, толпою выходя из собора в ярко-пунцовых пелеринках и белоснежных передниках.

— Откуда вы это знаете? — возразил Учитель Математики. — Ведь ангелов вы никогда не видали.

— О, мы их видим во сне! — отозвались Приютские Дети, и Учитель Математики нахмурился и сурово взглянул на них: ему не нравилось, что дети видят сны.

Как-то ночью пролетала тем городом Ласточка. Ее подруги, вот уже седьмая неделя, как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый Тростник. Еще ранней весной она увидела его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом.

— Хочешь, я полюблю тебя? — спросила Ласточка с первого слова, так как любила во всем прямоthu; и Тростник поклонился ей в ответ.

Тогда Ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую рябь. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето.

— Что за нелепая связь! — щебетали остальные ласточки. — Ведь у Тростника ни гроша за душой и целая куча родственников.

Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели.

Когда они улетели, Ласточка почувствовала себя сиротою, и эта привязанность к Тростнику показалась ей очень тягостной.

— Боже, ведь он как немой, ни слова от него не добьешься, — говорила с упреком Ласточка, — и я боюсь, что он очень кокетлив: заигрывает с каждым ветерком. И правда, чуть только ветер, Тростник так и гнется, так и кланяется.

— Пускай он домосед, но ведь я-то люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия.

— Ну что же, полетишь ты со мною? — наконец спросила она, но Тростник только головой покачал: он был так привязан к дому!

— Ах, ты играл моею любовью! — крикнула Ласточка. — Прощай же, я лечу к пирамидам!

И она улетела. Целый день летела она и к ночи прибыла в город.

— Где бы мне здесь остановиться? — задумалась Ласточка. — Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня?

Тут она увидела статую на высокой колонне.

— Вот и отлично. Я здесь и устроюсь: прекрасное место и много свежего воздуха. И она приютилась у ног Счастливого Принца.

— У меня золотая спальня! — разнеженно сказала она, озираясь. И она уже расположилась ко сну и спрятала голову под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля.

— Как странно! — удивилась она. — На небе ни облачка. Звезды такие чистые, ясные, — откуда же взяться дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой Тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист.

Тут упала другая капля.

— Какая же польза от статуи, если она даже от дождя не способна укрыть. Поищу-ка себе пристанища где-нибудь у трубы на крыше. — И Ласточка решила улететь.

Но не успела она расправить крылья, как упала третья капля.

Ласточка посмотрела вверх, и что же увидела она!

Глаза Счастливого Принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам. И так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что Ласточка преисполнилась жалостью.

— Кто ты такой? — спросила она.

— Я Счастливый Принц.

— Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь.

— Когда я был жив и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы, — ответила статуя. — Я жил во дворце Sans Souci¹, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в Большом Зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня все было так прекрасно! «Счастливый Принц» — величали меня приближенные, и вправду я был счастлив, если только в наслаждениях счастье. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез.

«А, так ты не весь золотой!» — подумала Ласточка, но, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива.

— Там, далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом, — продолжала статуя тихим мелодическим голосом. — Одно окош-

<http://kurokam.ru>

¹ Дворец Беззаботности (франц.).

ко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные, они сплошь исколоты иглой, потому что она швея. Она вышивает страстоцветы на шелковом платье прекраснейшей из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке, поближе к углу, ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов. Но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места.

— Меня ждут, не дождутся в Египте, — ответила Ласточка. — Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу Великого Царя. Там почивает он сам, в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его как осенние листья.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Останься здесь на одну только ночь и будь моею посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна.

— Не очень-то мне по сердцу мальчишки. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети мельника, злые мальчишки, всегда швыряли в меня камнями. Конечно, где им попасть! Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мои предки славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно. Однако Счастливый Принц был так опечален, что Ласточка пожалела его.

— Здесь очень холодно, — сказала она, — но ничего, эту ночь я останусь с тобою и выполню твое поручение.

— Благодарю тебя, маленькая Ласточка, — молвил Счастливый Принц.

И вот Ласточка выклевала большой рубин из шпаги Счастливого Принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольной собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над королевским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка, и с нею ее возлюбленный.

— Какое чудо эти звезды, — сказал ей возлюбленный, — и как чудесна власть любви!

— Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу, — ответила она. — Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки.

Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Наконец она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула, — она так была утомлена. Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол, рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу.

— Как мне стало хорошо! — сказал ребенок. — Значит, я скоро поправлюсь. — И он впал в приятную дремоту. А Ласточка возвратилась к Счастливому Принцу и рассказала ему обо всем.

— И странно, — заключила она свой рассказ, — хотя на дворе стужа, мне теперь несколько не холодно.

— Это потому, что ты сделала доброе дело! — объяснил ей Счастливый Принц. И Ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала.

На рассвете она полетела на речку купаться.

— Странное, необъяснимое явление! — сказал Профессор Орнитологии, проходивший в ту пору по мосту. — Ласточка — среди зимы!

И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо; оно было полно таких слов, которых никто не понимал.

«Сегодня же ночью — в Египет!» — подумала Ласточка, и сразу ей стало весело.

Она посетила все памятники и долго сидела на шпиге соборной колокольни. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать: «Что за чужак! что за чужак!» — и звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно.

Когда же возшла луна, Ласточка вернулась к Счастливому Принцу.

— Нет ли у тебя поручений в Египет? — громко спросила она. — Я сию минуту улетаю.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — взмолился Счастливый Принц. — Останься на одну только ночь.

— Меня ожидают в Египте, — ответила Ласточка. — Завтра подружки мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет денница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым бериллам, а рев их громче, чем рев водопада.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — сказал ей Счастливый Принц. — Там, далеко, за городом я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед ним в стакане увядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты, его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для Директора Театра, но он слишком озяб, огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств.

— Хорошо, я останусь с тобой до утра! — сказала Ласточка Принцу. У нее было предоброе сердце. — Где же у тебя другой рубин?

— Нет у меня больше рубинов, увя! — молвил Счастливый Принц. — Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и тысячу лет назад были привезены из Индии. Выклюй один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу.

— Милый Принц, я не могу сделать это! — И Ласточка стала плакать.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Исполни волю мою!

И выклевала Ласточка у Счастливого Принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась Ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слышал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в пучке увядших фиалок.

— Однако меня начинают ценить! — радостно воскликнул он. — Это от какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу. — И счастье было на лице у него.

А утром Ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики.

— Дружнее! Дружнее! — кричали они, когда ящик поднимался вверх.

— Я улетаю в Египет! — сообщила им Ласточка, но на нее никто не обратил внимания. Только вечером, когда взошла луна, Ласточка возвратилась к Принцу.

— Я пришла попрощаться с тобой! — издала закричала она.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — взмолился Счастливый Принц. — Не останешься ли ты до утра?

— Теперь зима, — ответила Ласточка, — и скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм, и крокодилы вытянулись в тине и лениво глядят по сторонам. Мои подруги выют уже гнезда в Баальбековом храме, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют. Милый Принц, я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя, и, когда наступит весна, я принесу тебе из Египта два драгоценных камня вместо тех, которые ты отдал. Краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя, и сапфир голубее морской волны.

— Внизу, на площади, — сказал Счастливый Принц, — стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и отец ее прибудет, если она возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее непокрыта. Выключи другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее.

— Я могу остаться с тобою еще одну ночь, — ответила Ласточка, — но выклевать твой глаз не могу. Ведь тогда ты будешь совсем слепой.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка, — молвил Счастливый Принц, — исполни волю мою!

И она выклевала у Принца второй глаз, и подлетела к девочке, и уронила ей в руку чудесный сапфир.

— Какое красивое стеклышко! — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой. Ласточка возвратилась к Принцу.

— Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки.

— Нет, моя милая Ласточка, — ответил несчастный Принц, — ты должна отправиться в Египет.

— Я останусь с тобой навеки, — сказала Ласточка и уснула у его ног. С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях: о розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок; о Сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все...

— Милая Ласточка, — отозвался Счастливый Принц, — все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая Ласточка, и Расскажи мне обо всем, что увидишь. И Ласточка пролетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закоулках побы-

вала она и видела бледные лица истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких мальчика лежали обнявшись, стараясь согреть друг друга.

— Нам хочется есть! — повторяли они.

— Здесь не полагается валяться! — закричал Полицейский. И снова они вышли под дождь.

Ласточка возвратилась к Принцу и поведала все, что видела.

— Я весь позолоченный, — сказал Счастливый Принц. — Сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье.

Листок за листком Ласточка снимала со статуи золото, куда Счастливый Принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах игры.

— А у нас есть хлеб! — кричали они.

Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз. Улицы засеребрились и стали сверкать; сосульки, как хрустальные кинжалы, повисли на крышах домов; все закутались в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках.

Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покинуть Принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться. Но наконец она поняла, что настало время умирать. Только и хватило у нее силы — в последний раз взобраться Принцу на плечо.

— Прощай, милый Принц! — прошептала она. — Ты позволишь мне поцеловать твою руку?

— Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет, — ответил Счастливый Принц. — Ты слишком долго здесь оставалась; но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя.

— Не в Египет я улетаю, — ответила Ласточка. — Я улетаю в Обитель Смерти. Смерть и Сон не родные ли братья?

И она поцеловала Счастливого Принца в уста и упала мертвая к его ногам. И в ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это раскололось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз.

Рано утром внизу на бульваре гулял Мэр Города, а с ним Городские Советники. Проходя мимо колонны Принца, Мэр посмотрел на статую.

— Боже! Какой стал оборвыш этот Счастливый Принц! — воскликнул Мэр.

— Именно, именно оборвыш! — подхватили Городские Советники, которые всегда во всем соглашались с Мэром. И они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее.

— Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла, — продолжал Мэр. — Он хуже любого нищего!

— Именно хуже нищего! — подтвердили Городские Советники.

— А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление: птицам здесь умирать воспрещается.

И Секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу.

И свергли статую Счастливого Принца.

— В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы! — говорил в Университете Профессор Эстетики.

И расплавили статую в горне, и созвал Мэр городской совет, и решили, что делать с металлом.

— Сделаем новую статую! — предложил Мэр. — И эта новая статуя пускай изображает меня!

— Меня! — сказал каждый советник, и все они стали ссориться. Недавно мне довелось слышать о них: они и сейчас еще ссорятся.

— Удивительно! — сказал Главный Литейщик. — Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь.

И швырнули его в кучу сора, где лежала мертвая Ласточка.

И повелел Господь ангелу своему:

— Принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе.

И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу.

— Правильно ты выбрал, — сказал Господь. — Ибо в моих райских садах эта малая птишка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге Счастливый Принц будет воздавать мне хвалу.

Перевод К. Чуковского

❧ Задания ❧

- ❧ Чем отличалась Ласточка от своих подруг?
- ❧ Почему Ласточка осталась со Счастливым Принцем?
- ❧ Почему Принц получил прозвище «Счастливый»?
- ❧ Почему статуя Принца плачет?

- ~ Почему Счастливому Принцу страдания людей интереснее описания красот природы?
- ~ Сумел ли Счастливый Принц помочь людям и как? Принесло его золото пользу или нет?
- ~ Хотел ли Счастливый Принц, чтобы все знали, что именно он помогает людям?
- ~ Почему раскололось оловянное сердце Счастливого Принца?
- ~ Как отнеслись к потускневшей статуе Мэр и городские чиновники?
- ~ Какой статуей они хотели заменить статую Счастливого Принца?
- ~ Что «самое ценное» нашел ангел в городе и принес Богу?

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	3
Русская литература	
А. С. ПУШКИН «Медный Всадник»	4
Н. В. ГОГОЛЬ «Невский проспект»	18
И. С. ТУРГЕНЕВ «Отцы и дети» (фрагменты)	50
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ «Преступление и наказание» (фрагменты)	105
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН «История одного города» (фрагменты)	220
Л. Н. ТОЛСТОЙ «Война и мир» (фрагменты)	250
Зрubeжная литература	
ДЖ. БАЙРОН «Корсар» (фрагменты)	414
Э. Т. А. ГОФМАН «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (фрагменты)	419
Э. ПО «Ворон»	432
Ф. СТЕНДАЛЬ «Красное и черное» (фрагменты)	437
О. ДЕ БАЛЬЗАК «Отец Горио» (фрагменты)	459
О. УАЙЛЬД «Счастливый Принц»	485

Учебное издание

ЛИТЕРАТУРА

10 класс

В двух частях

Часть 2

УЧЕБНИК

**для общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)**

Генеральный директор издательства *М. И. Безвизонная*

Главный редактор *К. И. Куровский*

Ответственный редактор *М. Г. Шмидт*

Ответственный за выпуск *А. В. Птухина*

Оформление и художественное редактирование: *Т. С. Богданова*

Технический редактор *Г. З. Кузнецова*

Корректор *И. Б. Копылова*

Компьютерная верстка: *А. М. Репкин*

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.02.953.Д.006513.04.10 от 21.04.2010.

Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная № 1.

Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,0.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 27238 (к-зип).

Издательство «Мнемозина».

105043, Москва, ул. 6-я Парковая, 29 б.

Тел.: 8 (499) 367 5418, 367 5627, 367 6781; факс: 8 (499) 165 9218.

E-mail: ioc@mnemozina.ru

www.mnemozina.ru

Магазин «Мнемозина»

(розничная и мелкооптовая продажа книг,
«КНИГА — ПОЧТОЙ», ИНТЕРНЕТ-магазин).

105043, Москва, ул. 6-я Парковая, 29 б.

Тел./факс: 8 (495) 783 8284; тел.: 8 (495) 783 8285.

E-mail: magazin@mnemozina.ru

www.shop.mnemozina.ru

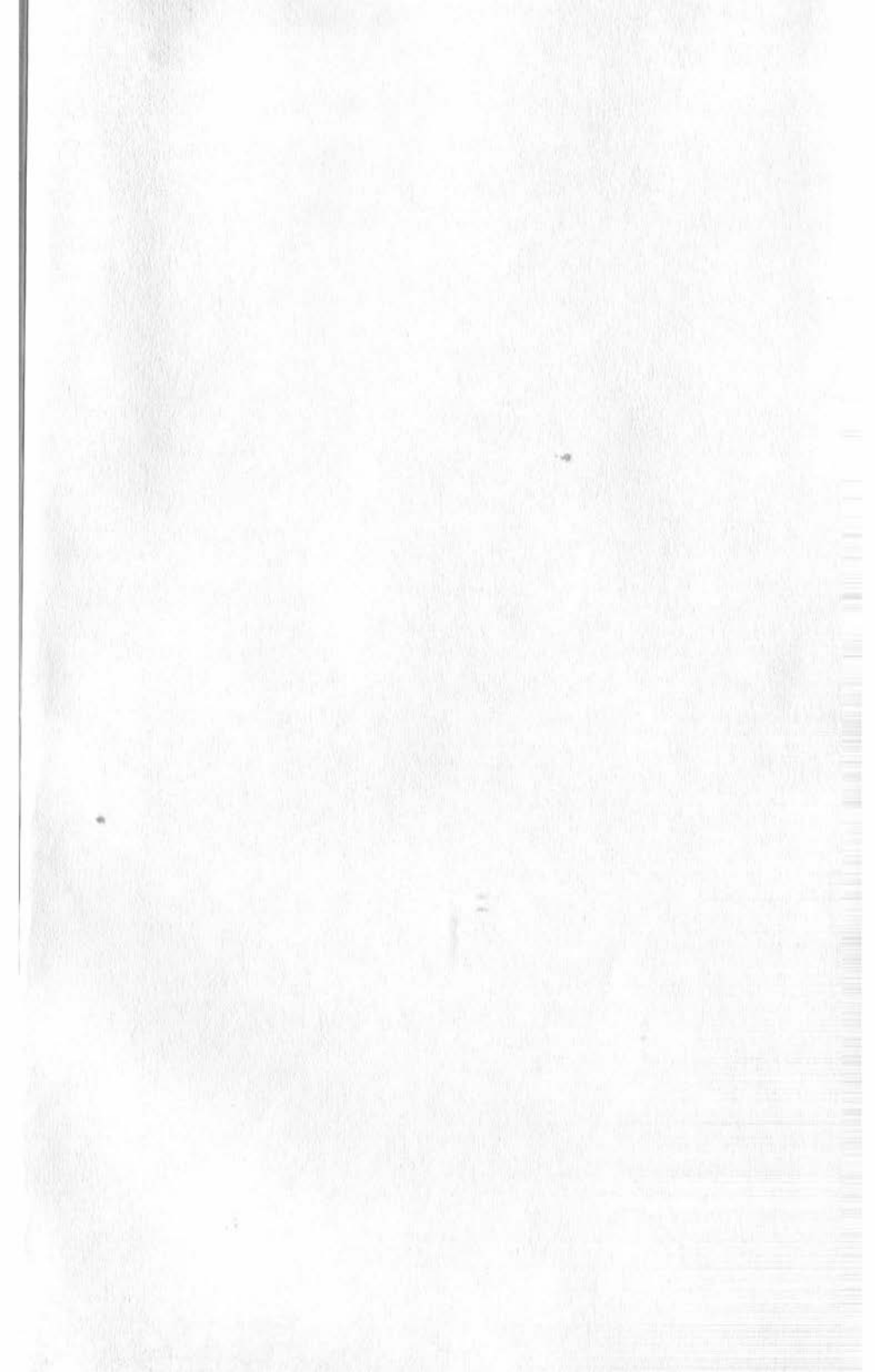
Торговый дом «Мнемозина» (оптовая продажа книг).

Тел./факс: 8 (495) 665 6031 (многоканальный).

E-mail: td@mnemozina.ru

Отпечатано в ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».

214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.





Т. Кинкейд
«Лондон»

ISBN 978-5-346-01679-3



9 785346 016793